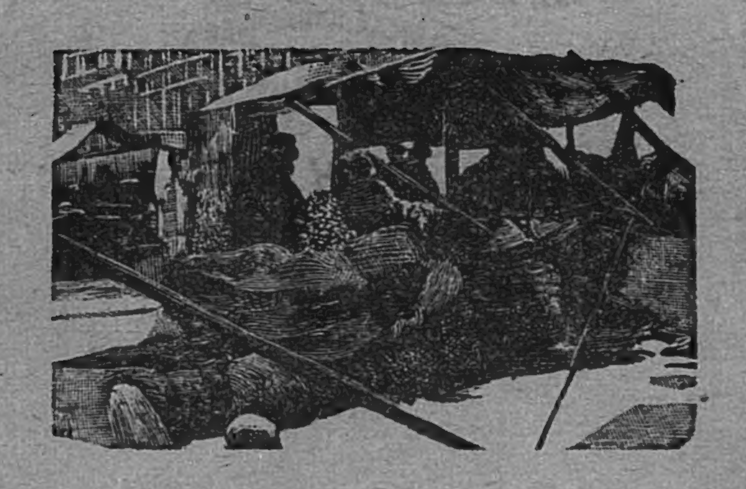
ВЛ. А. ГИЛЯРОВСКИЙ

МОСКВА и МОСКВИЧИ

ВОСПОМИНАНИЯ



ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПОЭТОВ
МОСКВА 1926

Отпечатано в Нотопечатне Госиздата, Колпачный, 13, в количестве 4.000 экземпляров, из них 100 нумерованных. Главлит 43629. зак. 800.

СОДЕРЖАНИЕ

Заставки и концовки—гравюры на дереве Ивана Павлов
Обложка—Б. Титова

Полвека литературной работы, почти полвека непрерывного кипения в котле Московской жизни, во всех слоях общества, начиная от фешенебельных салонов до подвалов нищеты, от чопорного английского клуба до разбойничьего притона—трактира „Каторга“, всюду и везде, знакомства и встречи там и тут без конца—дало мне возможность узнать Москву и москвичей со всех сторон, вверх и вниз.

Для предлагаемой книги я беру наиболее характерное поле московское, на котором только и могли вырасти такие плоды, каких, по крайней мере, в таком широком масштабе нигде не найдешь.

Я беру чисто московские специфические области—Хитровку, Сухаревку: трактиры, „Яму“ и „Засидки“, в которых отражается дно древней столицы и связь этого дна с ее высокими палатами.

Сознательно я даю только картины быта и типы конца прошлого столетия, так как Москва с 1905 года, года репетиции революции, уже начала терять свои особенности Старой Москвы.

Вл. Гиляровский

Картино
Лето 1925 г.



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Трущобы Хитрова Рынка

Гнилая яма.—Оглодки прошлого.—Логовища.—Сменка до седьмого колена.—„Пересыльный“. „Сибирь“. „Каторга“.—Биржа воров и разбойников.—Коты и марухи.—Утюги и волки сухого оврага.—Волчий паспорт.—Глеб Успенский.—П. Г. Зайчневский в облаве.—Художественный театр и трущобы Кулакова.—Театральные переписчики.—Потомственные почетные алкоголики.—Раки голые.—Аренда детей.—Сашка Кочерга.—Грудной Коська и Эффенбах.—Вагончик.—Княжна и брат разбойника Чуркина.—На грош горла.

Огромная площадь в центре столицы, близ реки Яузы, окруженная промозглыми облупленными каменными домами, лежит в низине, в которую спускаются, как ручьи в болото, несколько переулков. Она всегда курится. Особенно к вечеру. А чуть-чуть туманно или после дождя—то поглядишь сверху, с высоты переулка—жуть берет свежего человека: облако село! Спускаешься по переулку в шевелящуюся гнилую яму.

В тумане двигаются толпы оборванцев, мелькают около туманных, как в бане, огоньков. Это торговки с‘естными припасами рядами сидят на огромных чугунах или корчагах

с „тушенкой“, жареной, протухлой колбасой кипящей в железных ящиках над жаровнями, с бульенкой, которую больше называют „Собачья радость“. Удивительное кушание, которое собирается из кухонных лоханок по трактирам и употребляется в пищу подогретым, потому что горячее меньше пахнет падалью.

Чего чего нет в бульенке! Тут об‘едки хлеба, мяса, рыбы, голова селедки, кости копченого сига, высосанный лимон, шкурка недоеденного поросенка, оглоданная спинка рябчика или сырая куриная нога...

Хитровские „гурманы“, вроде горьковского „облезлого барина“ любят лакомиться этими об‘едками прошлого:—А ведь это был рябчик!—Смакует бывший тип. А кто попроще, ест тушеную картошку с прогорклым салом, щековину, горло, легкое и завернутую рулетом коровью требуху с непромытой зеленью содержимого в желудке—рубец, который здесь зовется: „рябчик“.

А кругом пар вырывается клубами из отворяемых поминутно дверей лавок и трактиров и сливается в общий туман конечно болеее свежий и ясный, чем внутренность трактиров и ночлежных домов, дезинфицируемых только клубами махорки, слегка уничтножающими запах прелых портянок, человеческих испарений и перегорелой водки.

Двух и трехэтажные дома вокруг площади все полны такими ночлежками, в которых ночевало и ютилось до 10.000 человек. Эти дома приносили огромный барыш домовладельцам, каждый ночлежник платил пятак за ночь, а „нумера“ ходили по двугривенному. Под нижними нарами, поднятыми на аршин от пола, были логовища на двоих, они разделялись повешенной рогожей и пространство в аршин кверху и полтора аршина между двумя рогожками и есть самый нумер, где ночевали без всякой подстилки, кроме собственных, снимаемых на ночь отрепьев, пары соединившихся на ночь. Иногда рядом с рваным лаптем торчал из-под нар ботинок с высоким каблуком.

На площадь приходили артели приезжих рабочих прямо с вокзалов и становились под огромным навесом, для них нарочно выстроенным. Хитрованцы толпами бродили по площади и не смели подходить к ним. Сюда по утрам являлись подрядчики и уводили нанятые артели прямо на работу. После полудня навес окончательно поступал в распоряжение хитрованцев и барышников, последние скупали все, что попало. Бедняки, продававшие с себя платье и обувь, тут-же снимали с себя и переодевались вместо сапог в лапти или опорки, а из костюмов в „сменку до седьмого колена“ сквозь которую тело видно...

Дома, где помещались ночлежки, назывались по фамилиям владельцев: Бунина, Румянцева, Степанова (потом Ярошенка) и Ромейка (потом Кулакова). В доме Румянцева были два трактира „Пересыльный“ и „Сибирь“, а в доме Ярошенка „Каторга“. Названия, конечно, эти не гласные—но у Хитрованов они были приняты. В „Пересыльном“ собирались бездомники, нищие и барышники, в „Сибири“—степенью выше—воры, карманники и крупные скупщики краденого—а апофеозом была „Каторга“, притон буйного и пьяного разврата, биржа котов, воров и беглых. Всякий „обратник“ вернувшийся из Сибири или тюрьмы никогда не миновал этого места. Здесь прибывший — если он действительно „деловой“ встречался с почетом—и его тотчас-же „ставили на работу“. Это биржа воров и разбойников.

Полицейские протоколы подтверждают, что большинство беглых из Сибири уголовных арестовывается в Москве именно на Хитровке.

При прощаньи арестантов в пересыльной тюрьме отправлявшимся из Москвы в Сибирь в каторжные работы без срока, оставшиеся здесь говорили:

— Ну, пока! В каторге увидимся, вертайся поскорее!

— Постараемся! отвечают сибиряки и пред глазами их рисуется трактир „Каторга“.

За столами, покрытыми мокрыми, грязными подобиями скатертей, под звуки неумолкающих гармонистов, обсуждались планы краж и разбоев, здесь „тырбанили слам“ и пропивали после дележа добычу вместе с „марухами“, которых тут-же и подставляли денежным карасям „коты“. Это или разудалые „Иваны“, поработившие своих слабохарактерных возлюбленных, или злополучные типы в роде горьковского „облезлого барина“, которых так, для „чучелы“, держат более энергичные женщины, удовлетворяющие презрением к своему любовнику свое самолюбие, сознавая, что еще хуже их люди есть.

Сплошной ужас представляла собой Хитровка в прошлом столетии, когда в лабиринте корридоров и переходов на кривых полуразрушенных лестницах, ведущих в ночлежки всех этажей, нигде не было никакого освещения.

Свой дорогу найдет, а чужому и не надо сюда!

Никакая власть не смела сунуться в эти мрачные бездны— и всем Хитровым рынком заправляли два городовых—Рудников и Лохматкин. Только их пудовых кулаков действительно боялась „шпана“, а „деловые ребята“ были с обоими представителями власти в дружбе и вернувшись с каторги или бежав из тюрьмы первым делом шли на поклон к ним. Тот и другой знали всех преступников за четверть века службы, несменяемые с этого поста. И никак не скроешься от них—свои донесут, что в такую-то квартиру вернулся такой-то.

Стоит на посту властитель, сосет трубку и видит, что вдоль стены пробирается какая-то фигура, скрывая лицо.

— Болдох! Гремит городовой.

И фигура, сорвав с головы шапку, подходит.

— Здравствуйте, Федот Иванович!

— Откуда?

— Из Нерчинска... Только вчера прихрял... Уж извините пока что...

— То-то, гляди у меня, Сережка, чтоб тихо мирно, а то...

— Нешто не знаем, не впервой... Свои люди...

А когда Рудникова спросил следователь по особо важным делам, В. Ф. Кейзер:

— Правда-ли, что ты знаешь в лицо беглых преступников на Хитровке и не арестуешь их?

— Вот потому двадцать годов и стою там на посту—а то и дня не простоишь, пришьют! Конечно всех знаю...

И благоденствовали хитрованы за такой властью.

Рудников был тип единственный в своем роде, фигура титаническая, натура цельная.

Он считается даже у каторжников беглых справедливым и поэтому только не был убит, хотя бит и ранен при арестах бывал не раз. Но не со злобой его ранили, а только спасая свою шкуру. Всякий свое дело делал: один ловил и держал, а другой скрывался и бежал.

Такова каторжная логика.

Боялся Рудникова весь Хитров рынок, как огня:

— Попадешься—возьмет!

— Прикажут—розыщет.

За 20 лет службы городовым среди рвани и беглых у Рудникова выработался особый взгляд на все:

— Ну.. каторжник... Ну, вор... нищий.. бродяга... Тоже люди, всяк жить хочет... А то что? Один я супротив всех их... Нешто их всех переловишь... Одного поймаешь, другие прибегут... Жить надо!

*
* *

Во время моих скитаний по трущобам и репортерской работы по преступлениям я часто встречался с Рудниковым и всегда дивился его уменью найти след там, где кажется ничего нет. Я припомню одну из характерных встреч с ним:

С моим другом, актером Васей Григорьевым мы были в дождливый сентябрьский вечер у знакомых на Покровском бульваре. Часов в 11 ночи стали уходить, и оказалось, что у Григорьева пропало его летнее пальто с вешалки швей-

царя. По следам оказалось, что вор влез в открытое окно, оделся и вышел в дверь.

— Соседи сработали... С Хитрова. Это уж у нас былое дело. Забыли окно запереть!—сказала старая кухарка.

Вася чуть не плачет: пальто новое. Я его утешаю:

— Если Хитрованцы,—найдем. Попрощались с хозяевами и прямо в 3-й участок мясницкой части. Старый, усатый пристав, полковник Шидловский имел привычку сидеть в участке до полуночи; мы его застали и рассказали свою беду.

— Если наши ребята,—сейчас достанем! Позвать Рудникова, он дежурный! Явился огромный атлет, с седыми усами и кулачищами с хороший арбуз. Мы рассказали ему подробно о краже пальто.

— Наши .. Сейчас найдем... Вы бы пожаловали со мной а они пусть подождут... Вы пальто узнаете?

Вася остался ждать, а мы пошли на Хитров прямо в дом Буниных. Рудников вызвал дворника, тот назвал какого-то оборванца, пошептались.

— Ну здесь взять нечего! Пойдем туда!

Темь. Слякоть. Только окна „Каторги“ светятся красными огнями сквозь закоптелые стекла, да выходит пар из отворяющейся то и дело двери.

Пришли во двор дома Румянцева и прямо во 2-й этаж, налево в первую дверь от входа.

— Двадцать шесть!—крикнул кто-то в ночлежке, и все зашевелилось... В дальнем углу отворилось окно и раздались один за другим три громких удара, будто от проваливающейся железной крыши.

— Каторга сигает!—пояснил мне Рудников и крикнул на всю казарму:

— Не бойтесь, дьяволы: я один, никого не возьму, так зашел...

— Чего-ж пужаешь зря!—обиделся рыжий, солдатского вида, здоровяк, приготовившийся прыгать из окна на крышу пристройки вслед за выпрыгнувшими.

— А вот морду я тебе побью, Степка!

— За что же, Федот Иванович!

— А за то, что я тебе не велел ходить ко мне на Хитров... Где хошь пропадай, а меня не подводи... Тебя ищут... Второй побег. Я не потерплю! .

— Я уйду... Я только сегодня... Вон маруха завела! И он подмигнул на девицу с синяком под глазом...

— П-пшел! Чтоб я тебя не видел!..

— А кто в окно сигнул? Зеленщик? Эй, Болдоха, отвечай

Молчит.

— Кто? Я спрашиваю... Чего молчишь? Что я тебе сыщик что-ли. Ну? Зеленщик? говори! Ведь, я его хромую ногу видел...

Молчит. Рудников размахивается и влепляет жесточайшую пощечину.

Поднимаясь с пола, Болдоха сквозь слезы говорит:

— Сразу бы так и спрашивал! А то канителится... Ну, Зеленщик!

— Чорт с ним. Попадется, скажи ему, заберу... Чтоб утекал отсюда... Подводите, дьяволы... Пошлют искать—все одно возьму. Не спрашивают—ваше счастье, ночуйте... Я не за тем... Беги на верх, скажи им, дуракам, чтобы в окна не сигали, а то с третьего убьются еще!.. А я наверх. Он дома?

— Дрыхнет поди!

Зашли в одну из ночлежек 3-го этажа—и там та же история: отворилось окно, и мелькнувшая фигура исчезла в воздухе. Эту ночлежку еще не предупредил Болдоха, хотя, слыша шум, все были на готове.

Я невольно подбежал к открытому окну. Подо мной зияла глубина двора, и какая-то фигура кралась вдоль стены. Рудников посмотрел вниз.

— А ведь, это Степка Махалкин! За то и Махалкиным прозвали, что сигать с крыш мастак. Он?

— Васьки Чуркина брат, Горшок, а не Махалкин...—послышался из-под нар бас-октава.

— Ну, вот он и есть, Махалкин... А это ты, Лавров? Ну-ка вылазь, покажись барину...

— Это протодьякон наш!

Из-под нар вылезла толстая фигура, босая, в грязной женской рубахе с короткими рукавами, открывавшими могучую шею и здоровенные плечи.

— Многая лета Федоту Ивановичу, многая лета!—загремел Лавров, но получив в морду, опять залез под нары...

— Соборный певчий был, семинарист... А вот! Тише вы дьяволы, дрыхните!—крикнул Рудников, и мы начали подниматься по узкой деревянной лестнице на какой-то чердак.

Внизу гудело „многая лета". Лавров еще не успокоился. Поднялись. Темно. Остановились у двери. Рудников попровал—заперто. Загремел кулачищем так, что дверь задрожала. Молчание. Он еще сильнее застучал. Дверь приотворилась на ширину железной цепочки, и из нее показался с'емщик, приемщик краденого.

— Ну, и что надо? И кто...

— Поднимается кулак, раздается визг, и дверь отворяется.

— И что вы деретесь, и я же человек!

— А коли ты человек—где пальто, которое тебе Сашка Пономарь сегодня принес?

— И что вы ночью беспокоите? Никакого пальта мне не приносили.

— Так. Повыдьте-ка отсюда, а мы поищем!—сказал мне Рудников, и когда затворилась дверь, опять послышались крики, вой и, наконец, двиганье мебели... Потом все смолкло. Рудников вышел и вынес пальто.

— Вот оно! Проклятый чорт запрятал в самый нижний сундук, и сверху еще пять сундуков поставил.

Таков был Рудников.

* * *

Иногда бывали обходы—но в 80-х годах это была видимость: окружат дом поспокойнее, наберут шпаны—а крупный в обход никогда не попадался. А в „Утюг" (тогда это был

дом Ромейко, а впоследствии „Кулаковка“)—полиция и не совалась.

Кулаковка, собственно, не один дом, а ряд домов в огромном владении Кулакова между Хитровской площадью и Свиньинским переулком.

Лицевой дом выходящий узким концом на площадь звали „Утюгом“, а мрачневший за ним ряд трехэтажных промозглых и зловонных корпусов звался „Сухой овраг“, а все вместе „Свиной дом“. До Ромейка он принадлежал известному коллекционеру Свиньину. По нем и переулок назвали.

Отсюда и кличка обитателей:

— „Утюги“ и „Волки сухого оврага“.

Забирали обходом мелкоту, беспаспортных, нищих, административно высланных и мелких воришек. На другой день рассортируют, беспаспортных и административных через Пересыльную тюрьму отправят в места приписки в ближайшие уезды—а они через неделю опять в Москве. Придут этапом в какой-нибудь Зарайск или Егорьевск, отметятся в полиции и в ту же ночь обратно. Нищие и барышники все окажутся москвичами или из подгородных слобод—и на другой день они опять на Хитровке, за своим обычным делом впредь до нового обхода.

И что им делать в глухом городишке? Работы никакой. Ночевать пустить всякий побоится, ночлежек нет—ну и пробираются в Москву и блаженствуют по своему на Хитровке. В столице можно и украсть и пострелять милостинку и ограбить свежего ночлежника, заманив с улицы или бульвара какого-нибудь неопытного беднягу бездомного, завести в подземный коридор, хлопнуть по затылку и раздеть до гола. Только в Москве и житье! Куда им больше деваться с волчьим паспортом административно высланным: ни тебе работа, ни тебе ночлег...

* * *

Я много лет изучал трущобы и часто посещал Хитров рынок, завел там знакомства, меня не стеснялись и звали „Газетчиком“.

Многие из товарищей-литераторов просили меня сводить на Хитров и показать им трущобы—но никто не решался войти в Сухой Овраг и даже в Утюг: войдем на крыльцо, спустимся несколько шагов вниз в темный подземный коридор—и просятся назад!

Ни на кого такого сильного впечатления не произвела Хитровка, как на Глеба Ивановича Успенского.

Работая в „Русских Ведомостях", я часто встречался с Глебом Ивановичем. Не раз просиживали мы с ним подолгу и в компании и вдвоем, обедывали как следует и вечера проводили.

Глеб Иванович обедал у меня в Москве, и, за стаканом вина, разговор пошел о пролетариате, о трущобах.

— Ах, как бы я хотел посмотреть знаменитый Хитров рынок, и этих людей, перешедших „рубикон жизни". Хотел бы я, да боюсь. А вот хорошо бы еслиб вместе нам отправиться!

Я, конечно, был очень рад сделать это для Г. И. и мы, в восьмом часу вечера,—это было в октябре—под'ехали к Солянке и, оставив извощика, пешком пошли по грязной площади, окутанной осенним туманом, сквозь который мерцали тусклые окна трактиров и фонарики торговок—обжорок. Мы остановились на минутку около торговок, к которым подбегали полураздетые оборванцы, покупали зловонную пищу, при чем они и торговки непременно ругались из-за копейки или куска прибавки, и, с'ев, убегали в ночлежные дома.

Эти уцелевшие оглодки жизни, засаленные и грязные сидели на своих горшках, согревая телом горячеее кушание, чтоб оно не простыло и неистово вопили:

— Л-лап-ш-ша—Лапшица! Стюдень свежий коровий... Оголовье... Свининка—рванинка вар-реная! Эй, кавалер, иди на грош горла отрежу!—хрипит баба со следами ошибок молодости на конопатом лице.

— Горла говоришь? А нос у тебя где?

— Нос... На кой ляд нос!

И запела на другой голос:

— Печенка—селезенка горячая! Рванинка!

— Ну давай всего на семитку!

Торговка поднимается с горшка, открывает толстую сальную покрышку, грязными руками вытаскивает обрывки „рванинки“ и кладет солдату на ладонь.

— Стюдню на копейку! Приказывает нищий в фуражке с подобием кокарды.

Студень тоже дается в пригоршню. Тот облизывает текущую сквозь пальцы жижу и ругается.

— Чорт! Нешто это студень? Вишь в ней тряпка какая-то.

— А ты не чертыхайся ваше благородие! Клюй моржовый какой выискался... Тряпка?.. Обсоси да кинь!..

— Вот беда... Вот беда!.. шептал Г. И., жадными глазами следил за происходящим и жался боязливо ко мне.

— А теперь Г. И., зайдем в Каторгу, а потом в Пересыльный, Сибирь, а затем пройдем по ночлежкам.

— В какую Каторгу?

— Так на хитровском жаргоне называется трактир, вот этот самый!

Пройдя мимо торговок, мы очутились перед низкой дверью трактира—низка в доме Ярошенка.

— Заходить-ли? боязливо спросил Г. И., держа меня под руку.

— Конечно!

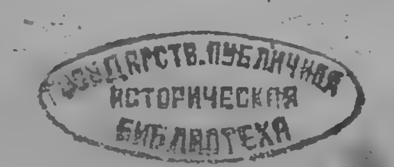
Я отворил дверь, откуда тотчас-же хлынул зловонный пар и гомон.

Шум, ругань, драка, звон посуды...

Мы двинулись к столику, но навстречу нам с визгом пронеслась по направлению к двери женщина с окровавленным лицом и вслед за ней здоровенный оборванец с криками:

— Измордую проклятую!

Женщина успела выскочить на улицу, оборванец был остановлен и лежал уже на полу: его „успокоили“.



Это было делом секунды.

Г. И. силой потащил меня вон из трактира и, выйдя, мы наткнулись на ту же самую женщину, которая выскребала из грязной мостовой камень и ругалась неистово.

— Что ты делаешь? спросил ее я.

— Убью его, подлого, убью изменьщика!

А сама старалась вынуть камень.

Чем эта хитровская драма кончилась—не знаю, потому что Г. И., дрожа всем телом, испуганным голосом, требовал итти домой.

Я взял его под руку, и мы пошли поперек пустой площади.

— Ведь убьют? Ни за что убьют? Ведь они потеряли все человеческое, все!..—Ничего человеческого, ничего!..

Мы шли. Нас остановил мрачный оборванец и протянул руку за подаянием. Г. И. полез в карман, но я задержал его руку, и, вынув рублевую бумажку, сказал хитрованцу:

— Мелочи нет, ступай в лавочку, купи за пятак папирос, принеси сдачу и я тебе дам на ночлег.

— Сейчас сбегаю!—буркнул человек, зашлепал опорками по лужам, по направлению к одной из лавок, шагах в 50 от нас, и исчез в тумане.

— Смотри, сюда неси папиросы, мы здесь подождем!—крикнул я ему вслед.

— Ладно,—послышалось из тумана.

Г. И. стоял и хохотал:

— В чем дело?—спрсил я.

—Ха-ха-ха, ха-ха-ха; так он и принес сдачу... — Ха-ха-ха. Да еще папирос! Ха-ха-ха.

Я в первый раз слышал такой смех у Г. И-ча.

Но не успел еще как следует Г. И. нахохотаться, как зашлепали по лужам шаги бегущего человека, и мой посланный, задыхаясь, вырос перед нами и открыл громадную черную руку, на которой лежали папиросы, медь и сверкало серебро!

— Девяносто сдачи. Пятак себе взял. Вот и „Заря“, десяток.

— Нет, постой, что-же это? Ты принес?!..

— А как же не принести... Что я, сбегу, что-ли с чужими-то деньгами... Нешто я...—уверенно выговорил оборванец.

— Ровно ничего не понимаю... ничего не понимаю...

— Хорошо!.. Хорошо!..—бормотал Г. И.

Я отдал оборванцу медь, а серебро и папиросы хотел взять, но Г. И. сказал:

— Нет, нет, все ему отдай... Все... За его удивительную честность... Ведь это...

Я отдал оборванцу всю сдачу, он сказал, удивленно, вместо спасибо, только одно:

— Чудаки господа.. Нешто я украду, коли поверили...

— Пойдем! Пойдем отсюда... лучшего нигде не увидим... Спасибо тебе! Обернулся он к оборванцу, поклонился ему и быстро потащил меня с площади. От дальнейшего осмотра ночлежек он отказался.

* * *

Многих из товарищей-писателей водил я по трущобам и всегда благополучно. Один раз была неудача—но совершенно особого характера. Тот, о ком я говорю был человек смелости испытанной, не побоявшийся бы ни Утюга ни Волков сухого оврага ни трактира „Каторга“, тем более, что он знал и настоящую, Сибирскую каторгу. Словом, это был никто иной, как знаменитый П. Г. Зайчневский, тайно пробравшийся из места ссылки на несколько дней в Москву. Как раз накануне ему Глеб Иванович рассказал о нашем путешествии и он загорелся весь. И мне весело было итти с таким подходящим товарищем. Около полуночи мы быстро шагали по Свиньинскому переулку, чтобы прямо попасть в „Утюг“, где продолжалось пьянство после „Каторги“, закрывавшейся в 11 часов. Вдруг солдатский шаг: за нами, вынырнув с Солянки шагал взвод городовых—мы поскорее на

площадь, а там из всех переулков стекаются взводами городовые и окружают дома: облава на ночлежников.

Дрогнула рука моего спутника:

— Черт знает... Это уже хужее!...

— Не бойся, Петр Григорьевич! Шагай смелей...

И мы быстро пересекли площадь: Подколокольный переулок, единственный откуда не шла полиция, вывел нас на Яузский бульвар. А железо на крышах домов уже гремело. Это серьезные элементы выбирались через чердаки и пластами укладывались около труб, зная что сюда полиция не полезет... Обходы тогда делались больше для видимости, по приказанию начальства.

Петр Григорьевич на другой день в нашей компани смеялся, как его испугали толпы городовых. Впрочем, было не до смеху: вместо Кулаковской „Каторги" он рисковал попасть опять в Нерчинскую!

* * *

Т. Л. Щепкину-Куперник, переодетую в шубку горничной, я тоже водил по Хитрову, показал ей ночлежки. Показал Хитровскую интеллигенцию. В надворном флигеле в д. Степанова, в 3-м этаже жила партия „театральных переписчиков". Они переписывали пьесы и расписывали их на роли для Театральных Библиотек и антрепренеров. Тяжелый, дармовой труд и всегда экстренный. Вокруг большого грязного стола с закоптевшей лампой сидело их семеро—переписывали роли. Копеек по 40 на человека заработок в ночь. А утром снаряжают одного из своих, повернее, кто обует, кто оденет, кто шапку даст—и отправят к заказчику с работой за деньгами. Плата—50 коп. с акта за роспиську всех ролей! Бледные, испитые, полуголые...

С меня, по обыкновению, потребовали бутылку водки и пили с тостами по адресу Т. Л. Щепкиной-Куперник. Бывший журналист, автор романа, напечатанного в 1881 году в „Русской газете"—„Важная барыня", Добронравов, говорил, ну, положительно как Сатин. Он живет здесь уже пятый

год—совсем спился с круга—что ни дай, как ни одень, куда ни помести—уйдет, пропьет и опять сюда

Отсюда мы пошли домой, потому—что вести Т. Л. в Кулаковку я пожалел—там всякого ужаса жди. Даже днем туда опасно ходить—корридоры темные как ночью! Помню, как-то я иду подземным корридором „Сухого оврага“ чиркаю спичку и вижу—ужас!—из каменной стены, из гладкой каменной стены, вылезает голова живого человека. Я остановился—а голова орет:

— Гаси, дьявол, спичку-то! Ишь шляются!

Мой спутник задунул в моей в руке спичку и потащил меня дальше; а голова еще что-то бурчала вслед.

Это замаскированный вход в тайник под землей, куда ни то что полиция, а сам чорт не полезет!

А вот какой сцены я был очевидцем в д. Ромейко в 80-х же годах.

Зашел как-то часа в 3, в летний день в „Каторгу“. Разгул уж был в полном разгаре. Сижу с переписчиком ролей Кириным, пьем водку. Кругом, конечно, коты с марухами. Вдруг в дверь влетает кот и орет во всеуслышание:

— Эй, вы, зеленые ноги!. Двадцать шесть!

Все насторожились и навастривают лыжи—но ждут об‘яснения.

— В „Утюге“ кого-то пришили. За полицией побежали...

— Гляди, сюда прихондорят!

Первым выбежал с соседнего стола здоровенный брюнет; из-под нахлобученной шапки виднелся затылок—правая половина которого обросла волосами много короче, чем левая. Так как в те времена еще брили каторжным головы—то я понял, что ему надо торопиться. Выбежало еще человек с пяток, оставив марух расплачиваться за угощенье.

Я заинтересовался и бросился в д. Ромейко, в дверь с площади. В квартире 2-го этажа, среди толпы в луже крови лежал человек лицом вниз, одетый в одной рубахе и обутый в лакированные сапоги с голенищами „гармони-

кой“. Из спины, под левой лопаткой, торчал нож, всаженный вплотную. Я никогда таких ножей не видал: из тела торчала большая, причудливой формы, медная блестящая рукоятка.

Убитый был кот. Убийца—мститель за женщину. Его так и не нашли—знали, да не сказали, говорили „хороший человек“.

Пока я собирал нужные для газеты сведения, явилась полиция, пристав и местный доктор, общий любимец, Дм. П. Кувшинников.

— Ловкий удар! Прямо в сердце.—Определил он.

Стали писать протокол. Я подошел к столу, разговариваю с Кувшинниковым, с которым меня познакомил этой зимой Антон Павлович Чехов.

— Где нож? Нож где?! Засуетилась полиция!

— Я его сам сию минуту видел! Сам видел! кричал пристав.

После немалых поисков нож был найден: его во время суматохи кто-то из присутствовавших вытащил и заложил за полбутылки в соседнем кабаке, который тоже, как и „Каторгу“, содержал Кулаков.

Таков д. Ромейко, который впоследствии приобрел разбогатевший Кулаков.

Уже после, когда он стал домом Кулакова, когда корридоры освещались, я водил туда артистов Художественного театра и художника Симова.

Администрация Художественного театра, ставя „На дне“ Горького, обратилась ко мне, как знающему хорошо трущобный мир, показать самую ужасную трущобу для декорации третьего акта.—Конечно, я им предложил дом Кулакова и повел их на Хитров рынок.

В путешествии участвовали Немирович-Данченко и Станиславский.

Потом я водил художника - декоратора Симова уже в самую трущобу из трущоб—в Сухой овраг,—притон, который он с поразительной точностью воспроизвел в 3 акте „Дна“.

Спускаемся по хорошо мне знакомым избитым ступенькам в нижний корридор—катакомбу среднего флигеля—центра Сухого оврага—самого ужасного из всех трущоб. Именно в тот корридор—где я тогда голову из стены увидел. Но теперь он освещен, следов тайника я не заметил. Направо и налево крепкие двери - теперь с обозначением нумеров и разрешаемого количества ночлежников—хотя это пустые слова, на самом деле их вдвое больше пускают.

Общие камеры.

Отворяю дверь. Ввожу художника.

Сквозь зловонный туман видны разметавшиеся фигуры спящих ночлежников и уходящие вглубь высокие, крутые своды, напоминающие картины тюрем инквизиции.

Под нарами—другой ряд ночлежников. Там, отдельные „номера", отделенные друг от друга повешенными рогожам. Там спят пришедшие парочки. А над ними, на нарах выше—спят коты, которые, ежели что, не дадут своих марух в обиду, а если у гостя сапоги хороши или платье ценное, то за удовольствие он уйдет голым—и жаловаться некому, полиция не мешается во внутренний распорядок и не нарушает обычаев, установившихся временем.

Здесь Симов делает наброски.

Поднимаемся по лестнице выше... Еще несколько квартир зарисовал Симов для своих прекрасных декораций, фотографически верных.

* * *

Хитрованцы, или как они себя называли „Хивинцы", любили свою трущобу и так привыкали, что их оттуда ничем не выгонишь—а уведешь—опять придет в свою „Хиву". Слово Хитровка не любили, и „хитрованец" считали оскорбительным. Хива—вольная сторона—говорили они. И действительно здесь воля, независимость, равноправность всех платящих одинаково пятак за ночлег, делает трущобу терпимой для одних, привлекательной для других. Здесь преступление и нужда, голод и холод связывают сильного со

слабым и уравнивает их. Отрущобился человек—и нет человека!

Это пучина засасывающая.

Если люди—мухи, то это—клейкая бумага для мух: зацепилась муха и приклеилась навсегда.

И все новые и новые жертвы наполняли Хитровку ежедневно.

Лишился человек места и квартиры. Идет ночевать на Хитров рынок. Попадает в воровскую квартиру—сонного разуют, разденут и паспорт отнимут, который тут-же и продадут: покупатели „на глаза“ всегда есть. И некуда человеку итти! Догнивай тут! А то заведет какого-нибудь пьяненького маруха, опоит малинкой—та же участь!

А сколько детей родилось, особенно у поденщиц-нищенок на Хитровом рынке. И ни один не ушел из трущобы—там дети доходная статья.

Чище других был дом Бунина, куда вход был не с площади, а с переулка. Здесь много жило постоянных хитрованцев, существовавших поденной работой, вроде колки дров и очистки снега, а женщины ходили на мытье полов, уборку, стирку, как поденщицы.

Но все они все-таки были горькие пьяницы „потомственные почетные алкоголики“. И Хитрова рынка не променяли бы ни за что. Здесь жили профессионалы нищие и разные мастеровые, отрущобившиеся окончательно. Больше портные, их звали „раками“, потому что они голые, пропившие последнюю рубаху, из своих нор никогда и никуда не выходили. Алкоголики сплошь. В целой квартире были одни опорки, один рваный кафтан, в котором по-очереди бегали на рынок за хлебом, бульенкой или тушенкой. Водку приносить не позволялось потому что все с‘емщики квартир сами торговали вином, давая его в долг, конечно, вдвое дороже и разбавленное водой. И годами жили так эти раки в своих протухлых норах, работая день и ночь, перешивая тряпье для базара, вечно с похмелья, в отребьях, босые.

А часто заработок бывал хороший. Вдруг в полночь вваливаются в рачью квартиру воры с узлами. Будят.

— Эй, вставай, ребята, на работу! Кричит разбуженный с'емщик. Из узлов вынимают пять дорогих шуб, пару лисьих ротонд и гору разного платья. Сейчас начинается кройка и шитье и к утру следа нет: являются барышники и охапками несут на базар меховые шапки, жилеты, картузы, штаны. Полиция ищет тщетно шуб и ротонд—а шапки и картузы продаются.

Главную долю, конечно, получает с'емщик—потому что он покупатель краденого. И все с'емщики воровских квартир приемщики краденого, а нередко и атаманы шаек.

Но самый большой, верный и постоянный доход им давала торговля вином. Каждая квартира—кабак. В стенах под полом, в толстых ножках столов—везде были склады вина, но скверного, разбавленного, для своих ночлежников и их гостей. Неразбавленную водку днем можно было получить в трактирах и кабаках, а после запорки их всю ночь торговал водкой в запечатанной посуде „Шланбой".

Откуда пошло это слово, по всей вероятности из переделанного „Шлагбаум"—неизвестно. Но „Шланбои" были повсюду, и бывало, если поздно ночью захочешь в Москве водочки, иди прямо к городовому на Трубе или на Грачевке— и он или сам принесет бутылку водки, или за двугривенный укажет:—третьи ворота налево, там в дворницкой „Шланбой".

И в глубине Бунинского двора был „Шланбой". Двор освещался тогда одним тусклым керосиновым фонарем, окна от грязи не пропускали освещение и только одно окно „Шланбоя" с белой занавесочкой было светлее других. Подходит кому надо к окну, стучит. Открывается форточка. Из занавесочки высовывается рука ладонью вверх. Приходящий кладет молча в руку полтинник. Рука исчезает и через минуту появляется снова с бутылкой „Смирновки" и форточка захлопывается. Одно дело—слов никаких. Тишина во дворе полная. Только с площади слышатся пьяные песни, визг

избиваемых котами марух, да крики: „караул“. Но никто не пойдет на помощь. Разденут, разуют и голым пустят. То и дело в переулках и на самой площади поднимали трупы убитых и ограбленных до нага. Их отправляли в Мясницкую часть для судебного вскрытия, а иногда в университет. Помню, как-то я зашел в анатомический театр к проф. И. И. Нейдингу и застал его читающим лекцию студентам. На столе лежал труп, поднятый на Хитровом рынке. Осмотрев наружно, И. И. сказал:

— Признаков насильственной смерти не находится.

Вдруг из толпы студентов вышел старый сторож при анатомическом театре, знаменитый Волков, нередко помогавший студентам препарировать, что делал замечательно умело.

— Иван Иванович,—сказал он. Что вы, признаков нет! Посмотрите-ка как ему в „лигаментум-нухе (ligamentum nuchae) насыпали! Повернул труп и указал перелом шейного позвонка.

— Нет уж, Иван Иванович, не было случая, чтобы с Хитровки присылали не убитых.

* * *

Много оставалось круглых сирот из рожденных на Хитровке. Вот одна из записанных мной в 80-х годах картинок.

В туманную осеннюю ночь во дворе дома Буниных шедшие к „Шланбою услыхали“ стоны с помойки. Там увидали женщину, разрешавшуюся ребенком. Один из сторожей побежал в Мясницкий участок, где акушеркой была общая благодетельница и любимица всего Хитрова рынка О. П. Киреева, сестра знаменитого актера и переводчика Сарду. Она служила акушеркой при части более 20-ти лет. Сроднилась с Хитровской беднотой и полюбила ее. О. П. старый друг моей семьи, много мне рассказывала из жизни Хитрова, и я не раз встречался с ней в трущобах, где она приходила навещать болящих женщин. На этот раз она опоздала: когда пришла к помойке—мать уже умерла, а старик ночлежник завернул в грязные тряпки ребенка и отнес его в свое логово к подруге умершей, Сашке-Кочерге.

Несмотря на хлопоты О. П. ребенка в воспитательный дом поместить было нельзя, не взяли—потому что он был по паспорту матери законнорожденный!

Мать была солдатка Феклуша, муж ее, солдат, служил на Кавказе, а она маячила зимой в ночлежках, а летом ходила в Сокольничьей роще леснушкой. Так назвались проститутки, уходившие на все лето с Хитрова в Сокольничью рощу, где и жили до осени, пока тепло, пока „каждый кустик ночевать пустит“.

Сашка-Кочерга завертывала новорожденного в тряпки и нищенствовала с ним. Раз—это было на другой год на Рождестве, она пьяная заснула с ребенком где-то в глухом переулке и отморозила ребенку ручку. Так и отгнили у несчастного Коськи два пальца (его звали Касьяном, родился 29 февраля) мизинец и безымянный, да еще на правой руке!

Она показывала раны прохожим и особенно много набирала во время его болезни. Потом она захворала и сдавала Коську нищенкам в аренду, и это продолжалось долго. Коська был настолько мал и ледащ, что его, трехлетнего, нищенка носила за грудного. Все это мне рассказала О. П., у которой я видел Коську: она при мне перевязывала ему пальцы. Сашка приносила.

Наконец вышел скандал. Сашка обратилась на улице к пожилому прохожему с просьбой помочь грудному ребенку. А прохожий этот был никто иной, как начальник московской сыскной полиции Эффенбах, который будучи в 60-х годах квартальным на Сенной, водил по трущобам дома Вяземского Всеволода Крестовского, автора „Петербургских трущоб“.

— Я тебя за нищенство, в участок отправлю! крикнул Эффенбах.

— Ах ты, сволочь этакая, мать и т. д.—послышалось из тряпья. Это протестовал „грудной“ Коська.

Сашку отправили в участок—а потом опять вернули на Хитровку, где Коська был избит Сашкой и переведен в „пешие стрелки“, с ручкой“.

Здесь дети были всегда в цене: их сдавали с грудного возраста. в аренду, чуть не с аукциона нищим. И грязная баба, нередко со следами ужасной болезни, с язвами на губах, берет несчастного ребенка, сует ему в рот соску из грязной, проплеванной для теплоты, тряпки, с нажеванным ею же хлебом, и тащит его на холодную улицу. Злополучный целый день, мокрый, грязный, лежит у нее на руках, отравляясь соской и стонет от холода, голода и постоянных болей в желудке, вызывая участие прохожих к „бедной матери несчастного сироты". Бывали случаи, что дитя утром умирало на руках нищей и она не желая потерять дня, ходила с ним до ночи за подаянием. Двухлетних водили за ручку, а трехлеток сам приучался „стрелять".

На последней неделе Великого поста грудной ребенок „по крикастее" ходил по четвертаку в день, а трехлеток по гривеннику. В обыкновенное время за трехлетка ничего не давали: только бы с хлеба долой. Пятилетки бегали сами и приносили тятькам, мамкам, дяденькам и тетенькам „на фатеру" и „пропой души" гривенники, а то и пятиалтынные. Чем больше становились дети, тем больше с них требовали и тем меньше им подавали прохожие.

Ниществуя, приходилось снимать зимой обувь и отдавать ее караульщику за углом, а самим босиком метаться по снегу около выходов из трактиров и ресторанов по ночам. Приходилось добывать деньги всеми способами, чтоб дома, вернувшись без двугривенного, не быть избитым. Девчонкам—подросткам приходилось еще хуже: только себя пьяному продать! Мальчишки кроме того стояли „на стреме", когда взрослые воровали—и в то же время сами подучивались у взрослых „работе": лазили в форточки, карманничали на рынках и „поездушничали", таская багаж из верха пролеток, особенно около вокзалов по глухим улицам.

Тут они действовали шайкой: набрасывались на пролетки, вскакивали на заднюю ось, вытаскивали из верха чемоданы или узлы и, передавая друг-другу сворованное, исчезали в

темноте. Шайками же малолетки совершали карманные кражи. В дальнейшем из них выходили громилы.

Бывало, что до седых волос рожденные на Хитровке на ней и доживали, исчезая на время на отсидку в тюрьму или дальнюю ссылку...

Это мальчики.

Положение девочек еще ужаснее.

Им остается одно: продавать себя, свое детское тельце, пьяным развратникам, и десятилетние пьяные проститутки, зараженные сифилисом—не редкость.

Они ютились больше в „вагончике". Это был крошечный одноэтажный флигелечек в глубине владения Румянцева, прозванный так за свою наружность. Там жили „марухи". В первой половине 80-х годов там появилась и жила по-долго, окончательно потерявшая себя красавица, которую звали „княжна". Она исчезала на некоторое время, попадая из лохмотьев за свою красоту то на содержание, то в шикарный публичный дом, возвращалась в шелку и бархате и с деньгами в свой вагончик и пропивала все со своими котами. В „Каторге" она распевала французские шансонетки, танцовала качучу, тогда модную.

В числе ее котов был постоянным „кредитным" Степка Махалкин, родной брат известного Гуслицкого разбойника „Васьки Чуркина", прославленного даже в романе его имени.

Но Степка Махалкин, прозванный арестанской кличкой за ряд побегов из Сибири и тюрем, был почище своего брата и презрительно называл его:

— Васька-то? Пустельга. Портяночник!

Как-то полиция арестовала его и отправила в Пересыльную, где заковали в кандалы.

Смотритель предложил ему:

— Хочешь, сниму кандалы, только дай слово не бежать.

— Ваше дело держать, а наше дело бежать! А слово тебе не дам. Наше слово крепко, а я уж дал слово одно.

И убежал, перебравшись через стену на огороды.

И прямо в „вагончик“, к княжне, которой дал слово что придет. Там произошла сцена ревности. Махалкин избил княжну до полусмерти. Ее отправили в Павловскую больницу, где она и умерла от побоев в 1886 году.

Это может быть и к счастью для княжны. Останься она на Хитровке—будущее известно:

Из ворот ночлежек выскакивают под вечер растрепанные накрашенные, в синяках марухи и зазывают:

— Эй, кавалер, вали к нам. За пятак удовольствие получишь и покурить дадим!

А гнусавая баба с корчаги:

— Подходи, на грош горла отрежу!



ГЛАВА ВТОРАЯ.

Сухаревка.

Воскресный торг. — Трактиры. — Сухаревский губернатор.—Легенда об индейце и золотом Будде.—Шулера и воры. — Огарев. — Букинисты. — Антиквары. — Колокола льют. — На грош пятаков. — Пропавший музей Зайцевского.—Подделки. Не Репин—Репин.—Антиквары мешечники.—Толкучка и развал.—Шайки воров.—Недорезанный клиент. — Барышники. — Сменщики. — Кукольники.—Сухаревские Кречинские—Обжорка.—Зазывалы.—И смех и грех.

Сухаревка — дочь войны. Смоленский рынок—сын чумы.

Он старше Сухаревки на 35 лет. Он родился в 1777 году. После московской чумы последовал приказ властей продавать подержанные вещи исключительно на Смоленском рынке и то только по воскресеньям во избежание разнесения заразы.

После войны 1812 года, как только начали возвращаться в Москву москвичи, и начали розыскивать свое разграбленное имущество, генерал-губернатор Растопчин издал приказ, в котором об'явил, что „все вещи, откуда бы они взяты ни были, являются неот'емлемой собственностью того, кто в данный момент ими владеет, и что всякий владелец может их продавать но только один раз в неделю, в воскресенье в одном только месте, а именно на площади против Сухаревой башни". И в первое же воскресенье горы награбленного имущества запрудили огромную площадь, и хлынула Москва на невиданный рынок.

Это было торжественное открытие вековой Сухаревки.

* * *

Высоко стоит вековая Сухарева Башня, с ее огромными часами. Издалека видно.

В те времена в верхних ее этажах помещались огромные цистерны, водопроводы—снабжавшие водой Москву.

Много легенд ходило о Сухаревой башне: и колдун Брюс там делал золото из свинца, и черная книга написанная дьяволом хранилась в ее тайниках. Сотни разных легенд одна нелепее другой.

А кругом по воскресеньям кипел торг, на который как на праздник шла вся Москва, и подмосковный крестьянин и заезжий провинциал. Против роскошного дворца Шереметевской больницы выростали сотни палаток раскинутых за ночь на один только день. От рассвета до потемок колыхалось на площади море голов, оставляя узкие дорожки для проезда по обеим сторонам широченной в этом месте Садовой улицы. Толклись десятки тысяч народа, и у всякого была своя цель.

Сюда и встарину обокраденные москвичи ходили розыскивать украденные у них вещи--и не безуспешно, потому что исстари Сухаревка была местом сбыта краденного. И вородиночка тащил сюда под полой „стыренное", и скупщики возили возами. На Грачевке, на Хитровом рынке и в д. Шипова на Лубянской площади были целые квартиры портных, куда воры привозили охапками шубы и ротонды, и к утру они обращались в картузы, шапки, пиджаки и брюки и продавались на Сухаревке дешево, „по случаю". Сухаревка жила „случаем" конечно не редко несчастным. Сухаревский торговец того времени купит там, где несчастье в доме, когда все нипочем, или он „укупит" у незнающего цену нуждающегося человека, или из-под полы товарца приобретет, а этот товарец иногда дымом поджога пахнет, иногда и кровью облит, а уж слезами горькими—всегда. За бесценок купится, дешево и продается.

Лозунг Сухаревки: — На грош пятаков!

Сюда одних гнала нужда, других азарт наживы, третьих — спорт, опять таки с девизом: на грош пятаков. Один нес последнее барахло из крайней нужды—и отдавал за бесценок: окружат барышники, чуть не силой вырвут—и тут же на глазах, перепродадут втридорога. Вор—за бесценок:—только бы продать поскорее—бросит тем же барышникам. Покупатель необходимого является с последним рублем зная что здесь можно дешево купить—и в большинстве случаев его надуют: не даром говорили о платье, мебели и пр.

— Сухаревской работы!

Ходили сюда и московские богачи с тем же поиском на грош пятаков.

* * *

Я много лет часами ходил по площади, заходил к Бакастову и другие трактиры, где с утра воры и бродяги дуются на биллиарде, или прежде в азартную биксу или фортунку, знакомился с этим людом и изучал разносторонний быт по специальностям. Чаще всего я заходил в самый тихий трактир—низок Григорьева, посещавшийся более тихой сухаревской публикой: тут игры не было—значит и воры не ходили. Я подружился с Г—вым, еще тогда молодым человеком, воспитанным и образованным самоучкой. Жена его, вполне интеллигентная, стояла за кассой, получая деньги и гремя трактирными медными марками,—деньгами, которые выбрасывали из „лопаточников“ юркие ярославцы половые в белых рубашках. Я обыкновенно садился направо от входа у окна за хозяйский столик, вместе с Григорьевым и беседовал часами. То и дело подбегал к столу его сын, гимназист-первокласник, приносил с восторгом купленную им на площади книгу—в это время он скупал путешествия, брал денег и быстро исчезал, чтобы снова явиться с новой книгой.

Кругом, в низких прокуренных залах галдели гости, к вечеру уже подвыпившие. Среди них сновали торгаши с мелочным товаром, бродили вокруг столов случайно проскользнувшие нищие, гремели кружками монашки-сборщицы.

Влетает оборванец, выпивает стакан водки и хочет убежать. Его половые задерживают. Скандал. Кликнули с поста городового, важного и толстого. Узнав в чем дело он плюет и уходя ворчит:

— Из-за пятака правительство беспокоють!

Изредка заходили сыщики—но здесь им взять было нечего. Мне их указывал Григорьев и рассказывал много о них—и все что он говорил, была правда, и многое из сказанного им мне пригодилось впоследствии. Его рассказы и указания на отдельных лиц мне служили в будущем путеводной нитью. Один из его родственников, человек со средствами, был страстный игрок, играл на шуллерских мельницах, знал подноготную игорной трущобы, и я его встречал не раз у Григорьева и здесь и потом в другом трактире, который он снял и торговал в нем. У Григорьева была большая прекрасная библиотека, составленная им исключительно на Сухаревке. Сын его, будучи студентом, был революционером, в 1905 году был расстрелян Мином, и тело его нашли на дворе Пресненской части в груде трупов. Отец не пережил этого—и умер. Надо сказать, что и ранее Григорьев считался неблагонадежным и иногда открыто воевал с полицией и ненавидел сыщиков. Настоящих сыщиков до 1881 года не было, потому что сыскная полиция, как учреждение, образовалась только в 1881 году. До тех пор сыщиками считались только два пристава—Замайский и Муравьев, имевшие своих помощников из числа воров, которым мирволили в мелких кражах—а крупные преступления они должны были раскрывать и важных преступников ловить. Кроме этих двух был единственно, знаменитый в то время сыщик Смолин, бритый, плотный старик, которому поручались самые важные дела. Центр района его действий была Сухаревка—а отсюда им были раскинуты нити повсюду—и он один только знал все. Его звали:

— Сухаревский губернатор.

Десятки лет он жил на 1-й Мещанской в собственном двухэтажном домике вдвоем со старухой-прислугой. И еще

кроме мух и тараканов было только одно живое существо в его квартире: это состаревшаяся с ним вместе большущая донская черепаха, которую он кормил из своих рук, садил на колени и она ласкалась к нему своей голой головой с умными глазами. Он жил совершенно одиноко, в квартире его—все знали—было много драгоценностей, но он никого не боялся: за него горой стояли громилы и берегли его, как он их берег, когда это было возможно. У него в доме никто не бывал: принимал только в сенях. Дружил с ворами, громилами и главным образом с шуллерами, бывая в игорных домах, где его не стеснялись. Он знал все, видел все—и молчал. Разве уж если начальство прикажет розыскать какую-нибудь дерзкую кражу, особенно у известного лица—ну розыщет, сами громилы скажут и своего выдадут...

Был с ним курьезный случай: как-то украли медную пушку из Кремля, пудов 10 весу—и приказало ему начальство через три дня пушку розыскать. Он всех воров на ноги.

— Чтоб была у меня пушка! Свалите ее на Антроповых ямах в бурьян... Чтоб завтра пушка оказалась, где приказано. На другой день пушка действительно была на указанном пустыре. Начальство перевезло ее в Кремль и водрузило на прежнем месте, у стены. Благодарность получил.

Уже много лет спустя выяснилось, что пушка для Смолина была украдена другая с другого конца кремлевской стены послушными громилами, принесена на Антроповы ямы и возвращена в Кремль—а первая так и исчезла.

В преклонных годах умер Смолин бездетным. Пережила его только черепаха. При описи имущества, которое в те времена, конечно, не все в опись попало, найдено было в его спальне два ведра золотых и серебрянных часов, цепочек и портсигаров.

Громилы и карманники очень соболезновали:

— Сколько добра то у нас пропало! Оно ведь, все наше добро то было... Ежели бы знать, что умрет Андрей Михайлович: прямо голыми руками бери!

* * *

Десятки лет околачивался при кварталах сыщиком Смолин.—Много легенд по Сухаревке ходило о нем. Еще до русско-турецкой войны в Златоустенском переулке в д. Мединцева совершенно одиноко жил богатый старик-индеец. Что это был за человек—никто не знал. Кто говорил, что он торгует восточными товарами, кто его считал за дисконтера. Кажется то и другое имело основание. К нему иногда ходили какие-то восточные люди—но он был окружен сплошной тайной. Восточные люди вообще жили тогда в подворьях Ильинки и Никольской. И он жил в таком переулке—где днем торговля идет, а ночью ни одной души не увидишь. И кому какое дело: живет индеец и живет! Мало ли какого народу в Москве. Вдруг индейца нашли убитым в квартире. Все было снаружи в порядке: следов грабежа не видно. В углу на столике стоял аршинный Будда литого золота, все замки не взломаны. Явилась полиция для розысков преступников. Все драгоценности целыми сундуками направили в хранилища Сиротского Суда: брилианты, жемчуг, золото, бирюза — мерами! Напечатали об'явление о вызове наследников. Заторговала Сухаревка! Бирюзу горстями покупали, жемчуг... бриллианты...

Дело о задушенном индейце—в воду кануло, никого не нашли.

Наконец, года через два явился законный наследник—тоже индеец, но одетый по европейски. Он приехал с деньгами, о наследстве не говорил—а цель была одна—розыскать убийц дяди. Его сейчас же отдали на попечение полиции и Смолина.

Смолин первым делом его познакомил с восточными людьми Пахро и Абазом—и давай индейца для отыскивания следов по шуллерским мельницам таскать—выучили пить и играть в модную тогда стуколку... Запутали, закружили юношу—и в один прекрасный день он поехал ночью из игорного притона домой—да и пропал. Поговорили и забыли.

А много лет спустя, как то в дружеском разговоре с всеведущим Ник. Ив. Пастуховым я заговорил об индейце. Оказывается он знал много, писал тогда в Современных Из-

вестиях, но об индейце генерал-губернатором было запрещено даже упоминать.

— Кто же был этот индеец, спрашиваю.

— Темное дело. Говорят какой-то скрывавшийся глава секты душителей.

— Отчего ж запретил о нем писать ген.-губернатор?

— Да оттого, что в спальне у Закревского золотой Будда стоял!

— Разве Закревский был Буддист!?

— Как же, с тех пор, как с Сухаревки ему Будду этого принесли!

* * *

Небольшого роста, плечистый, выбритый и остриженный начисто, в поношенном черном пальто и картузе с лаковым козырьком, солидный и степенный, точь в точь камердинер средней руки, двигается незаметно Смолин по Сухаревке. Воры исчезают при его появлении. Если увидят, то знают, что он уже их заметил—и, улуча удобную минуту, подбегают к нему... Рыжий, щеголеватый карманник Пашка-Рябчик что то спроворил в давке и хотел скрыться, но взгляд сыщика остановился на нем. Сделав круг, Рябчик был уже около и что то опустил в карман пальто Смолина.

— Щучка сдесь... с женой... Проигрался... Зло работает...

— С Аннушкой?

— Да-с... Юрка к Замайскому поступил... Игроки с деньгами! У старьевщиков покупают... Вьюн... Голиаф... Ватошник... Кукишь—и сам Цапля. Шуруют вон, гляди...

Быстро выпалил и исчез. Смолин переложил серебрянные часы в карман брюк.

Издали углядел в давке высокую женщину в ковровом платке, а рядом с ней козлиную бородку Щучки. Женщина увидала и шепнула бороде. Через минуту Щучка уже терся, как незнакомый около Смолина.

— Сегодня до кишок меня раздели... У Васьки Темного... Проигрался!

— Ничего, злее воровать будешь!

Щучка опустил ему в карман кошелек.

— Аннушка сработала?

— Она... Сам не знаю, что в нем...

— А у Цапли что?

— Прямо плачу, что не попал, а угодил к Темному! Вот дело было! Сашку Утюга сегодня на шесть тысяч взяли...

— Сашку? Да он сослан в Сибирь!

— Какое! Всю зиму на Хитрове околачивался... болел... Марк Афанасьев подкармливал. А в четверг пофартило, говорят, в Гуслицах с кем-то купца пришил... Как одну копейку шесть больших отдал.. Цапля метал... Архивариус метал. Резал Назаров.

— Расплюев!..

— Да, вон он с Цаплей у палатки стоит... Андрей Михайлович, первый фарт тебе отдал!.. Дай хоть копеечку на счастье...

— На, разживайся! И отдал обратно кошелек.

— Вот спасибо! Век не забуду... Ведь почин дороже денег... Теперь отыграюсь! Да! Сашку до копья розыграли. Дали ему утром сотенный билет, он прямо на вокзал в Нижний... А Цапля завтра новую мельницу открывает, богатую.

Смолин подходит к Цапле.

— С добычей! Когда на новоселье позовешь!

— У Цапли и лицо вытянулось.

— Сашку то сегодня на шесть больших слопали?

Ну, когда новоселье?..

Оторопел окончательно старый Цапля.

— Цапля! Это что ты отобрал? Портреты каких-то вельмож польских... На что они тебе?

— Для дураков, Андрей Михайлович, для дураков... Повешу в гостинной—за моих предков сойдут... Так в четверг, милости просим, там же на Цветном, над моей старой квартирой... сегодня снял в бельэтаже...

— Сашку на Волгу спровадили?

Добивает Цаплю всеведующий сыщик и идет дальше, к ювелирным палаткам, где выигравшие деньги шуллера обращают их в золотые вещи, чтоб потом снова проиграться на мельницах...

Поговорит с каждым, удивит каждого своими познаниями, а от них больше выудит...

— Это кто такой франт что с Абазом стоит?

— Невский гусь... как его...

— Кихибарджи?.. Зачем он здесь?

— За кем-то из купцов охотятся... в Славянском базаре в сорокарублевом номере остановились. И Караулов с ними...

И по развалу проползет тенью Смолин...

Увидал Комара.

— Ну как твои куклы?

Все Смолин знает не то, что где было — а что и когда будет и где...

И знает, и будет молчать, пока его самого начальство не прищучит!

* * *

Из властей предержащих почти никто не бывал на Сухаревке, кроме знаменитого Московского Полицеймейстера Н. И. Огарева, голова которого с единственными в Москве усами черными, лежащими на груди, изредка по воскресеньям маячила над толпой около палаток антикваров, у которых он время от времени покупал какие-нибудь удивительные стенные часы. И всегда платил за них наличные деньги и никогда торговцы с него, единственного, может быть, не запрашивали лишнего. У него была страсть к стенным часам. Его квартира была полна стенными часами, которые били на разные голоса непрерывно одни за другими. Еще он покупал каррикатуры на полицию всех стран—и одна из комнат была увешена каррикатурами на полицию. Этим уже снабжали его букинисты, и цензурный комитет, задерживавший эти каррикатуры.—Куда-то девалась эта знаменитая коллекция каррикатур на полицию?

* * *

В те времена палаток букинистов было до 30. Здесь можно было приобресть все, что хочешь. Если не найдется нужный том какого-нибудь разрозненного сочинения—только закажи, на другое воскресенье достанут. Дополнить разрозненное издание, за пустяки купив недостающий том, было всегда возможно. Массу редких, даже редчайших книг, иногда уников, можно было приобрести только здесь. Библиофилы и ученые не пропускали ни одного воскресенья. А как к этому дню готовились букинисты! Шесть дней рыщут—ищут товар по частным домам, усадьбам, чердакам, покупают целые библиотеки у наследников или разорившихся библиофилов—а стрелки скупают повсюду отдельные книги в одиночку и перепродают букинистам, собиравшимся в трактирах на Рождественке, в Б. Кисельном пер. и на Малой Лубянке. Это была книжная биржа—завершавшаяся на Сухаревке, где каждый постоянный покупатель знал каждого букиниста и каждый букинист каждого покупателя, что ему надо и как он платит.

Особым почетом у букинистов пользовались профессора как напр. И. Е. Забелин, Н. С. Тихонравов, и Е. И. Барсов.

Любили и уважали букинисты и бедноту студенческую, делая для них всякие любезности. Приходит компания студентов, человек пять, и общими силами покупают одну книгу или издание лекций совсем задешево—и все учатся по одному экземпляру. Или брали на прокат книгу, уплачивая по пятачку в день—и букинисты давали книги без залога—и никогда книги за студентами не пропадали.

Букинисты и антиквары—последних звали старьевщиками—были аристократической частью Сухаревки. Они занимали место ближе к Спасским казармам. Здесь не было той давки, что на толкучке. Здесь публика была чище: Коллекционеры и собиратели библиотек, главным образом из именитого купечества. Всем букинистам был известен один собиратель, оставивший после себя ценную библиотеку и каждое воскре-

сенье копавшийся целый день в палатках букинистов и в разваленных на рогожах книгах. И рассчитывался он всегда неуклонно так: сторгует, положим, книгу, за которую просили 5 рублей, за 2 рубля, выжав все из букиниста, и лезет в карман. Вынимает кошелек—из одного достает рубль, а из другого вываливает всю мелочь и дает 1 р. 93 к.

— Семи копеечек нет... Вот получите.

Знают эту его систему все букинисты, знают, что низачто не добавит, и отдают книгу.

А один букинист, который еще торгует и теперь, раз и сказал ему:

— Ну как вам не совестно копеечки то у нашего брата вымарщивать?

— Ты ничего не понимаешь! А в год то их сколько накопится.

Знали еще букинисты одного курьезного покупателя. Так долгое время ходил на Сухаревку старый лакей с аршином в руках и требовал ряд книг в хороших переплетах непременно известного размера. За ценой не стоял. Его чудак-барин, разбитый параличем и не оставлявший постели таким образом составлял библиотеку, вид которой утешал его.

* * *

На этой аристократической части Сухаревки в перемежку с букинистами стояли и палатки антикваров. Впрочем иностранные слова в ту пору не в моде были на площади, здесь выражались только по-русски:

— Букинисты-книжники.

— Антиквары-старьевщики. А то еще проще:

— Барахольщики.—Особенно же у которых имелись старинные ткани и ковры.

Уважаемым покупателем у последних был Петр Иванович Щукин. Сам он редко бывал на Сухаревке. К нему товар носили барахольщики. Дверь его кабинета при амбаре на Ильинке, запертая для всех, для антикваров всегда была открыта. Вваливаются в амбар с огромными мешками и прямо

их проводят в кабинет без доклада. Через минуту Петр Иванович наслаждается в тучах пыли, роясь в грудах барахла вываленного из мешков. Отбирает все лучшее—а остатки появляются на Сухаревке, в палатках или на рогожах, около них. Сзади этих палаток, к улице—барахольщики 2-го сорта раскинули рогожи, на которых разложен всевозможный чердачный хлам: сломанная медная ручка, кусок подсвечника, обломок старинной канделябры, разрозненная посуда, ножны от кинжала...

И любители роются в товаре и находят кой-что купить. Положим там и публика по товару—но бывают и исключения. Время от времени около этих рогож появляется владелец колокольного завода, обходит всех и отбирает обломки лучшей бронзы, которые тут же и отправляет домой, на Балканы, на свой завод. Сам же направляется в палатки антикваров и тоже отбирает лом серебра и бронзы.

— Что покупаете? Спрашиваю как-то его:

— Серебрянный звон!

Для Сухаревки это развлечение. Колокол льют! Шушукаются по Сухаревке—и тот час же по всему рынку забегают, а потом перенесутся в город самые нелепые росказни и вранье. И мало того, что чужие повторяют—а каждый сам старается похлеще соврать и обязательно действующее лицо, время и место действия надо точно обозначить.

— Слышали, утром-то сегодня? Под Каменным мостом кит на мель сел... Народищу там!..

— В беговой беседке у швейцара жена родила тройню— и все с жеребячьими головами...

— Сейчас Спасская башня провалилась. Вся!.. И с часами... Только верхушку видать...

И бегут... бегут, бывало, эти слухи. Кто и в самом деле поверит и повторяет их с прикрасами, а настоящий москвич выслушает—и виду не подает, не улыбнется—а сам еще чище что-нибудь запустит. Он знает что уж обычай такой:

— Колокол льют!

А сотни лет поверье ходило, что чем больше небылиц разойдется—тем звончее колокол отольется.

А потом встречаются:

— Чего ты назвонил, что башня провалилась? Бегал—на месте стоит, как стояла!

— У Финляндского на заводе большой колокол льют!!... Ха-ха-ха!

* * *

С 80-х годов, когда в Москве начали выходить газеты и запестрели об'явлениями колокольных заводов—Сухаревка перестала пускать небылицы, которые в те времена служили рекламой. А колоколозаводчик неукоснительно появлялся на Сухаревке и скупал „Серебрянный звон". За ним очень ухаживали старьевщики так как он был не из типов, искавших „на грош пятаков". Это был покупатель со строго определенной целью—купить „Серебрянный звон"— а не „на грош пятаков". Близок к нему был еще один чайник, не пропускавший ни одного воскресенья, скупавший, не выжиливая копеечку, и фарфор и хрусталь и картины... Между настоящими любителями-коллекционерами немало было знатоков особенно по хрусталю, серебру и фарфору—и настоящие знатоки почитались антикварами. Но таких было мало: больше любители или казаться коллекционерами или „укупить" дешево, одурачить торговца, а самим перепродать с выгодой. У них мечта была купить за красненькую настоящего Рафаэля, чтобы за тысячи перепродать за границу или краденое бриллиантовое колье из первых рук у самого вора за полсотни... Пускай потом Рафаэль окажется доморощеной мазней, а колье бутылочного стекла—а он все-таки идет опять на Сухаревку в тех же мечтах, и до самой смерти будет ходить, искать „на грош пятаков". Ни образования, ни знания, ничего кроме тятенькиных капиталов и природного уменья наживать деньги в заведенном деле.

И торгуются они из-за копейки до слез, и радуются, что удалось купить статуэтку голой женщины с отбитой рукой и

поврежденным носом, и уверяют они знакомых, что даром досталась ему:

— Племянница Венеры Милосской!..

— Что?!.

— А рука-то где? А вы говорите!

Еще обидится! И пойдет торговаться с извощиком из-за гривенника! Много их таких ходило по Сухаревке—но много и таких, истинных любителей, оставивших богатые коллекции, сделавшиеся народным достанием, перейдя в музеи. Но много их и пропало. Все делалось как-то втихомолку, по-Сухаревски.

И все эти антиквары и любители были молчаливы, как будто они покупали краденое. Купит, спрячет и молчит. И все в одиночку, тайно друг от друга.

Но раз был случай когда они все жадной волчьей стаей или, вернее, стаей пугливого воронья, набросились на крупную добычу. Это было в 80-х годах.

Тогда умер знаменитый старый московский коллекционер М. М. Зайцевский, более 40 лет собиравший редкости изящных искусств, рукописей, пергаментов, первопечатных книг. Полвека его знала и ему завидовала вся Сухаревка. За десятки лет все его огромные средства были потрачены на этот музей, закрытый для публики и составлявший в полном смысле этого слова жизнь для своего старика-владельца, забывавшего весь мир ради какой-нибудь „новенькой старинной штучки" и никогда не отступившего, чтобы не приобрести ее. Он ухаживал со страстью и терпением за какой-нибудь серебряной крышкой от кружки и не успокаивался пока не приобретал ее, не жалея трудов и денег. Я знаком был с М. М. но трудно было его уговорить показать собранные им редкости. Да никому он их и не показал. Сам—один любовался своими сокровищами, тщательно их охраняя от постороннего глаза.

Прошло сорок лет, а у меня до сих пор еще мелькают перед глазами редкости этих четырех больших комнат его собственного дома по Хлебному переулку. Стены комнат

тесно увешаны массой старинных картин. На первом месте картина, изображающая святого Иеронима. Это оригинал замечательного художника. Некоторые знатоки приписывали его кисти Луки Джиордано. Рядом с этой картиной помещались две громадных картины фламандской школы, изображающие пир и торжественный выход какого-то властителя. Далее картины Лессуера—Христос с детьми, картины Адриана Стаде и множество других картин прошлых веков.

В следующей комнате огромная коллекция редчайших икон, начиная от икон Строгановского письма, кончая иконами, уцелевшими чуть не со времен гонения на христиан. Тут же коллекция крестов. Между ними золотой складень с надписью „Моление головы московских стрельцов Матвея Тимофеевича Синягина". Третья комната занята портретами на кости и на металле. Портрет Екатерины II, сделанный из немецких букв, которые можно рассмотреть только в лупу. Из букв составлялась вся история царствования. Еще два портрета маслом с Гр. Орлова Чесменского в 1795 г. На одном граф изображен на своем „Барсе" верхом, а на другом в санях, запряженных „Свирепым". Около на столе лежит кованная вся в бирюзе сбруя „Свирепого". Далее сотни часов, рогов, кружек, блюд, а посреди их статуя Ермака Тимофеевича, грудь которого сделана из огромной цельной жемчужины. Она стоит на редчайшем серебряном блюде XI века.

Перечислить все что было в этих залах—невозможно. А на дворе кроме того большой сарай был завален весь разными редкостями более громоздкими. Тут же вся его библиотека. В отделении первопечатанных книг была книга „Учение Фомы Аквинского" напечатанная в 1467 г. в Майнце, в типографии Шефера, компаньона изобретателя кногопечатания Гутенберга.

В отделе рукописей была две громадных книги на пергаменте с сотнями рисунков рельефного золота. Это „Декамерон" Боккачьо, писанная по-французски в 1414 г.

После смерти владельца его наследники, не открывая Музея для публики, выставили некоторые вещи в залах Исто-

рического Музея и снова взяли их, решив продать свой музей, что было необходимо для дележа наследства. Ученые археологи, профессора, хранители музеев дивились редкостям, высоко ценили их и соболезновали, что казна не может их купить для своих хранилищ.

Три месяца Музей стоял открытым для покупателей но продать, за исключением мелочей, ничего не удалось „частные московские археологи, воспитанные на традициях Сухаревки с девизом „на грош пятаков“, ходили стаями и молча ничего не покупали. Сухаревские старьевщики-барахольщики типа „Ужо“, коллекционеры, бесящиеся с жиру, или собирающие коллекции, чтобы похвастаться перед знакомыми, или скупающие драгоценности для перевода капиталов из одного кармана в другой, или просто желающие помаклачить искатели на грош пятаков вели себя возмутительно.

Они с видом знатоков старались овладеть своими глазами, разбегающимися как у вора на ярмарке при виде сокровищ, поднимали голову и рассматривая истинно редкие огромной ценности вещи говорили небрежно:

— М... н... да... Но это не особенная редкость! Пожалуй, я возьму ее. Пусть дома валяется... Целковых двести дам.

Этими словами ценили финифтьевый ларец, стоивший семь тысяч рублей.

Об этом ларце в воскресенье заговорили молчаливые раритетчики на Сухаревке. Предлагавший двести рублей на другой день подсылал своего подручного купить его за три тысячи рублей. Но наследники не уступили.

А Сухаревка обиженная, что в этом Музее даром ничего не укупишь начала

— Колокола лить.

Несколько воскресений между антикварами только и слышалось, что лучшие вещи все уже распроданы что наследники нуждаются в деньгах и уступают за бесценок—но это не помогло сухаревцем „укупить на грош пятаков“.

В один прекрасный день на двери появилась вывеска‘ гласившая, что—сухаревских маклаков и антикваров из переулков (были названы два переулка) просят не трудиться звонить“.

Дальнейшую судьбу Музея и его драгоценностей я не знаю и вспомнил это только сейчас, перечитав мои записные книжки того времени.

Помню еще, что сын владельца Музея В. М. Зайцевский, актер и рассказчик, имевший в свое время успех на сцене, умер в начале этого столетия и, кажется, существовал только актерским некрупным заработком. Его знали под другой его, сценической фамилией, а друзья, которым он в случае нужды помогал щедрой рукой, звали его просто—Вася Днепров.

Что он Зайцевский—об этом и не знали. Он как то зашел ко мне и принес изданную им книжку стихов и рассказов, которые он исполнял на сцене. Книжка называлась „Пополам“. Меня он не застал и через день спросил по телефону, получил ли я ее.

— Спасибо, жаль что не застал меня. Кстати, скажи цел ли отцовский музей?

— Эге! Хватился! Только и остался портрет отца, и то, я его этой зимой на Сухаревке купил.

* * *

Неизменными посетителями Сухаревки были все содержатели антикварных магазинов. Некоторые из них являлись самым ранним утром, в то время когда торговцы раскладывали из ящиков привезенный товар и когда с рассветом приходили на Сухаревку с мешками ходячие старьевщики, русские и татары, специальность которых была ходить по квартирам и добывать старину.

— Куколок нет ли каменных? Спрашивали нередко старьевщики по домам, приносили статуэтки ценные вплоть до Поповских. Конечно, редко сами владельцы продавали их. Они действовали больше через прислугу или покупали у загулявших молодых людей, будущих наследников. У каждого старьев-

щика-мешечника был свой антиквар и другому он не продавал, ни за что.

Один из старых московских антикваров являлся именно с рассветом, садился на ящик и смотрел как расставляют вещи. Сидит, глядит и чуть усмотрит что-нибудь интересное сейчас ухватит и купит раньше любителей-коллекционеров, а потом перепродаст им же в тридорога.

Нередко его антиквары гнали:

— Да уходите, не мешайте дайте разложиться!

— Ужо̀! ужо̀! отвечает он всегда одним и тем же словом и сидит как примороженный.

Так и звали его торговцы

— Ужо̀!

* * *

Любил рано приходить на Сухаревку и Владимир Егорович Шмаровин. Он считался знатоком живописи и Поповского фарфора. Он покупал иногда серебряные чарочки, из которых мы пили на его „Средах“, покупал старинные дешевые медные, бронзовые серьги. Он прекрасно знал старину и его обмануть было нельзя, хотя подделки фарфора было много, особенно Поповского. Делали это заграницей, откуда приезжали агенты и привозили товар. На Сухаревке была одна палатка, специально получавшая из-за границы поддельного Попова и так называемый „Новый Сакс“, который продавался за старый. Подделка была во всех областях. Кривой персиянин торговал в своей палатке исключительно поддельным под древнее-восточным оружием: индийские и древнеперсидские кинжалы, щиты, копья и пр. Нажил огромные деньги. Он жил одиноко в одном из соседних переулков, где его и нашли зарезанным, а квартиру разграбленной. Конечно, в те времена так и не розыскали виновных.

Нумизматы неопытные также часто попадали на Сухаревскую удочку. В серебряном ряду у антикваров стояли витрины полные старинных монет, где попадали всякие. Кроме того, на застекленных лотках продавали монеты ходячие ну-

мизматы. Спускали по 3 и по 5 рублей редкостные рубли Алексея Михайловича и огромные 4-х угольные фальшивые медные рубли работы Московской и Казанской.

Поддельных Рафаэлей, Корреджио и Рубенсов—сколько хочешь. Это уже специально для самых неопытных искателей на грош пятаков. Настоящим же знатокам их и не предложат за настоящие, а товар все-таки шел.

Был интересный случай. К палатке одного антиквара подходит дама, долго смотрит картины и останавливается на одном жанре с подписью И. Репина, на ней ярлык 10 р.

— Настоящий Репин.. Сколько?

— Знаете, как я могу сказать наверное... Мне дали на комиссию... Да разве за 10 руб. можно Репина купить. А все может быть...

— Вот вам 10 руб. Я беру картину. Но если она не настоящая, то принесу обратно. Я буду сегодня у знакомых где сегодня Репин обедает и покажу ему.

Приносит дама к знакомым картину и показывает ее Репину. Тот хохочет. Просит перо и чернила и подписывает внизу картины:

— *Это не Репин. И. Репин.*

Картина эта потом опять попала на Сухаревку и была продана, благодаря репинскому автографу, за 100 руб.

* * *

Старая Сухаревка занимала огромное пространство в 5.000 сажен. А кругом, кроме Шереметевской больницы, во всех домах были—трактиры, пивные, магазины, всякие оптовые торговли и лавки сапожные и с готовым платьем, куда затаскивали чуть не силой покупателя. А в ближайших переулках склады мебели—которая по воскресеньям выносилась на площадь в свой угол.

Главной же, народной Сухаревкой была толкучка и развал.

Какие два образные слова: народ толчется целый день в одном месте и так попавшего в те места натолкают, что всякое место болит! Или развал: Развалят нескончаемыми рядами на рогожах немудрый товар и торгуют кто чем. Кто рваной обувью, кто старым железом, кто ключи к замкам подбирает—и тут же подпиливает, если ключ не подходит... А карманники по всей площади со своими тырщиками снуют: окружат, затырят, вытащат... Кричи „Караул". Никто и не послушает, разве за карман схватится—а он, гляди, уже пустой—и сам поет „Караул"! Ограбили!.. И карманники шайками ходят и кукольники с подкидчиками шайками и сменщики шайками и барышники шайками. На Сухаревке в одиночку делать нечего жулью! А сколько их сортов! Взять хоть „играющих": во всяком удобном уголку садятся прямо на мостовую трое-четверо и открывают игру в три карты—две черных, одна красная. Надо угадать красную... Или игра в ремешок: свертывает кольцом ремешок и надо гвоздем попасть так, чтобы гвоздь остался в ремешке... Но никогда никто не угадает красной и никогда гвоздь не остается в ремне! Ловкость рук поразительная. И десятки шаек игроков шатается по Сухаревке, и сотни простаков желающих нажить продуваются без копейки! А на лотке с гречневиками тоже игра, в которую больше забавляются мальчишки в надежде даром вкусный гречневик с постным маслом с'есть.. Дальше ходячая лотерея—тоже жулье.

А вот покрупнее сорта:

Пришел, хоть положим, мужик свой последний полушубок продавать. Его сразу окружает шайка барышников. Каждый торгуется, каждый дает свою цену. Наконец, сходятся в цене. Покупающий неторопливо лезет в карман, будто за деньгами и передает купленную вещь соседу. Вдруг сзади мужика шум и все глядят, и он туда оглядывается. А шуба в единый миг, с рук на руки и исчезает.

— Что же деньги то, давай!

— Че—ево?

— Да деньги за шубу!

— За какую? Да я ничего и не видал!

Кругом хохот, шум... шуба исчезла и требовать не с кого...

Шайка сменщиков: Продадут золотые часы, с пробой или настоящее кольцо с бриллиантом, а когда придет домой покупатель—глядит часы медные и без нутра, и кольцо медное со стеклом...

Положим это еще Кречинский делал!

Сухаревка выше Кречинского!

Часы или булавку долго ли подменить!

А здесь вот дюжину штанов...

Словом делалось так: ходят малые по толкучке, на плечах у них перекинуты связки штанов, совершенно новеньких только что сшитых, аккуратно сложенных.

— Почем штаны?

— По четыре рубля... Нет, ты гляди товар то какой... По случаю аглицкий кусок попал. Тридцать шесть пар вышло. Вот и у него и у него... Сейчас вынесли только.

Покупатель и у другого смотрит.

— По три рубля... пару возьму.

— Эка!

— Ну красненькую за трое... Берешь.

— По четыре... А вот что хошь ежели, бери всю дюжину за три красных...

У покупателя глаза разгорелись: кому не предложи, всякий купит по 3, а то и по 4 рубля. А сам у того и другого смотрит и считает, верно, дюжина. А у третьего тоже кто-то торгует, тут рядом.

Сторговались за четвертную. Отдает деньги, веревочкой связывает продавец штаны... Вдруг покупателя кто-то бьет по шее. Тот оглядывается.

— Извини, обознался, за приятеля принял!

Получает штаны и уходит.

Приносит домой—оказывается одна штанина сверху и одна снизу—а там барахло.

Сменили пачку когда он оглянулся.

Купил на грош пятаков.

* * *

Это на развале, на ручной торговле. Около селедочниц сидящих рядами, от которых несет специфическая вонь вплоть до такой же благоухающей обжорки. Здесь жулья меньше, тут только снуют, тоже шайками, бездомовные ребятишки, мелкие карманники и поездошники, таскающие у проезжих саквояжи из пролеток. Обжорка их любимое место, их биржа. Тухлая колбаса в жаровнях, рванинка, бульонка,—обрезки, ржавые сельди, бабы на горшках с тушеной картошкой... Вдруг ливень. Развал закутывает рогожами товар. Кто может спасается под башню... Только обжорка недвижима—бабы поднимают сзади подолы и окутывают голову... Но через несколько минут опять голубое небо и мокрая толпа опять толчется на рынке.

После дождя и в дождь особенно хорошо торгуют обувью.

В одну из палаток удалось затащить чиновника с кокардой в сильно поношенной шинели. Его долго рвали пополам два торговца один за правую руку другой за левую. Побежденный стал у входа и язвит.

За два рубля чиновник покупает подержанные штиблеты обувается и уходит, лавируя между лужами.

— Не дойдет!

— Дойдет!

— На пару пива паре?

— На скольки?

— На четверть часа.

— Пошло!

Оба задрали головы на башенные часы.

— Ну ставь, проиграл!

— Еще минута.

Вдали показывается чиновник.

— Проиграл!

— Нет, бриться идет; видишь сел.

Действительно чиновник уселся на тумбу около башни. Небритый и грязный цирульник мигнул вихрастому мальчишке, тот схватил немытую банку из-под мази, отбежал, черпнул из лужи воды и подал.

Здесь бритье стоило три копейки, а стрижка пять.

По утрам, когда нет клиентов, мальчишки обучались на отставных солдатах, которых брили даром. Изрежет неумелый мальчуган несчастного, а тот сидит и терпит потому что в билете у него написано „бороду брить, волосы стричь, по миру не ходить“. Через неделю опять солдат просит побрить!

— Ну, недорезанный, садись уж! Приглашает его на тумбу Фигаро.

Чиновник, побрившись, идет мимо платьевых рядов, где зазывалы, рвут его на части. Здесь только отделения тех лавок, которые расположены в домах вокруг площади. Там зазывают еще хлеще...

Я любил останавливаться и подолгу смотреть на эту галдящую орду, а иногда и отдаваться воле зазывал.

Идешь по тротуару мимо лавок, а тебя за полы хватают.

— Пожалте-е, у нас покупали.

Тащут и тащут. Хочешь—не хочешь, заведут в лавку. А там уж обступят другие приказчики—всякий свое дело делает и свои заученные слова говорит. Срепетовка ролей и исполнение удивительное. Заставят пересмотреть, а то и примерить все: и шубу и пальто и поддевку.

— Да ведь мне ничего не надо! Скажешь.

— Теперь не надо. Опосля понадобится. Лишнее знание не повредит. Окромя пользы от этого ничего... Может что знакомым понадобится—вот и знаете где купить—а каков товар своими глазами убедились...

Шумит, зазывало на улице у лавки.

Идет строгая дама.

— Сударыня. У нас покупали. Для супруга пальто, для деток поддевочки-с...

Дама гордо продолжает итти. Ясно видно, что она бесполезна. Тон меняется.

— Сударыня, сударыня! Из брюк чего-нибудь не желаете ли!.. Кричат ей в догонку при общем хохоте—и ловят новых прохожих.

* * *

А какие там типы были! Я познакомился из любопытства с одним таким. На масляницу и на Пасху он брал у хозяина отпуск и уходил под Девичье в балаганы в деды-зазывалы. Ему было под сорок, жил он с мальчиков у одного хозяина. Звали его Ефим Макариевич. Не Макарыч, а из почтения — Макариевич.

У лавки солидный и важный он был в балагане неузнаваем в своей седой подвязанной бороде.

Как заорет на все поле:

— Рррра-ррр-ра-а! К началу! У нас Юлия Пастраны двоюродная внучка от облизьяны! Дыра на боку вся в шелку!..

И пойдет и пойдет...

Толпа уши развесит... От всех балаганов сбегается — „Юшку комедианта" слушать. Таращим мы на него глаза, стоя в темноте и давке, задрав головы—а он седой бородой трясет да над нами же издевается. Вдруг ткнет в толпу пальцем да как завизжит:

— Чего ты чужой карман шаришь?

И все завертят головами, а он уж дальше едет: ворону увидал и к ней.

— Дура, ты дура. Куда тебя зря нечистая сила прет... Эх ты девятиногая буфетчица из помойной ямы!.. Ррр-ра-ра. К началу-у, к началу!..

Сорвет бороду, махнет ею над головой и исчезнет вниз...

А через минуту опять выскакивает на ходу бороду, нацепляет:

— Эге-ге-гей! Публик почтенная, полупочтенная и которая так себе! Начинайте торопиться без вас не начнем Знай наших, не умирай скорча.

Вдруг остановится, сделает серьезную физиономию, прислушивается.

Замрет толпа.

— Ой, ой, ой! Да никак начали! Торопись, ребя!

И балаган всегда полон, где Юшка орет.

И когда я беседуя с ним за чайком удивлялся, как он гуляющей толпой владеет, он говорит:

— Это что, толпа. Толпа—баранье стадо—куда козел туда и она. Куда хошь повернешь. Нешто это моя заслуга. На Сухаревке ты попробуй! Мужику в одиночку протолкуй, какому-нибудь коблу лесному, а еще труднее кулугуру степному, да заставь его в лавку зайти, да уговори его ненужное купить.. Это брат не с толпой под Девичьем, а в сто раз по труднее! А у меня за тридцать лет на Сухаревке никто мимо лавки непрошел. А ты—толпа! Толпу... Зимой купаться уговорю!

* * *

Сухаревка была особый мир, никогда более неповторяемый.

Она вся в этом анекдоте:

Один из посетителей Шмаровинских „Сред"—художник реставратор возвратился в одно из воскресений с дачи и прямо с вокзала, по обыкновению, заехал на Сухаревку, где и купил великолепную старую вазу в точь под пару имеющейся у него.

Можете себе предоставить радость настоящего любителя, приобревшего такое ценное сокровище!

А в квартире встретила его прислуга и сообщила, что накануне громилы обокрали всю его квартиру.

— Он купил свою собственную вазу!



ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Московские трактиры.

Старые трактиры.—Как едали у Тестова.—Половые.— Извозчичьи трактиры. — „Петр Кирилыч“. — Шутованье над половыми. — Селедка и генерал. — А. Д. Лопашов.— Пельмени в розовом шампанском. — „Две и три“. — „Арсентьич“.—Миллионер Карташов.—Бубновская дыра.— „Скольки“.—Не хочу в ворота, ломай забор?—„Журавли Славянского Базара“. — „Стрельна“. — „Апельсин“. — „Рестораршки“.—Первый шашлычник.—Племянник князя.— Зал дедов русской революции.—„Молдавия“ и цыгане.— „Петушиные бои в „Голубятне“.—„Пьяная деревня“.— Охотничьи трактиры. — „Хлебная биржа“. — „Вязка“.— „Писатели с Никольской“.—„Тарас Бульба“ не Гоголя.— „Пещеры в Балаклаве“.—Актерские трактиры.—С. С. Щербаков. — Ливорно. — Актеры великим постом. — Ресторан Вельде.—Биллиардная Соврасенкова.—Откуда слово „об‘егорить“.—Ресторан „Похмелье“.—Ленька и Серенька. Их родитель.—Эрмитаж Оливье.—„Я знаю!“—„Каторга“.

Трактир есть вещь первая! Говорит в „Лесе“ Аркашка Несчастливцев. И для москвича трактир действительно есть первая вещь: он заменял и биржу для коммерсантов, делавших за чашкой тысячные сделки, и столовую для одиноких, и часы отдыха в дружеской беседе для всякого люда, и место деловых свиданий, разгул для всех—от миллионера до босяка.

Словом—прав Аркашка:

— Трактир есть вещь первая!

Старейшими чисто русскими трактирами были еще с первой половины прошлого столетия три трактира: „Саратов“, Гурина и Егорова. У последнего их было два: один в своем собственном доме в Охотном Ряду, а другой в доме миллионера Патрикеева, на углу Воскресенской и Театральной площадей. С последним Егорову пришлось расстаться. В 1868 году приказчик Гурина, И. Я. Тестов, уговорил Патрикеева мечтавшего только о славе, отобрать у Егорова трактир и сдать ему. И вот к великой купеческой гордости, на стене вновь отделанного роскошного, по тому времени, дома появилась огромная вывеска с аршинными буквами: „Большой Патрикеевский трактир“ А внизу скромно: И. Я. Тестова.

Заторговал Тестов, щеголяя русским столом.

И купечество и барство валом повалили. Особенно торговля шла с августа, когда помещики со всей России везли в Москву учиться детей в модные учебные заведения и установилось традицией пообедать с детьми у Тестова или в „Саратове“, у Дубровина, откуда „жить пошла“ со своим хором знаменитая „Анна Захаровна“, потом блиставшая у Яра.

После спектаклей стояла очередью театральная публика. Слава Тестова забила Гурина и „Саратов“. В 1876 году купец Карзинкин купил трактир Гурина, сломал его, выстроил огромнейший дом, и составил „Товарищество Большой Московской Гостинницы“, отделал в нем роскошные залы и гостинницу с сотней великолепных нумеров. В 1878 году открылась первая половина гостинницы. Но она не помешала Тестову, прибавившему к своей вывеске герб и надпись: „Поставщик Высочайшего Двора“. Петербургская знать во главе с великими князьями специально приезжала из Петербурга съесть Тестовского поросенка, раковый суп с удивительными растегаями и знаменитую Гурьевскую кашу, которая кстати сказать, ничего общего с Гуринским трактиром не имела, а была придумана каким то мифическим Гурьевым.

Кроме ряда кабинетов в трактире были две огромных залы где на часы обеда или завтрака именитые купцы имели свои столы, которые до известного часа никем не могли быть заняты

Так, в левой зале, крайнний столик у окна с четырех часов стоял за миллионером Ив. Вас. Чижовым, бритым, толстенным стариком огромного роста. Он в свой час аккуратно садился за стол, всегда почти один, ел часа два и между блюдами дремал.

Меню его было таково: порция холодной белуги с хреном или осетрины, икра, две тарелки ракового супа, солянки рыбной или солянки из почек с двумя растегаями, а потом жареный поросенок, телятина или рыбное, смотря по сезону. Летом обязательно ботвинье с осетриной, белорыбицей и сухим тертым балыком. Затем, на третье блюдо неизменно сковорода Гурьевской каши. Иногда позволял себе отступление, заменяя растегаи байдаковским пирогом—огромной кулебякой с начинкой в 12 ярусов, где было все, начиная от слоя налимьей печенки и кончая слоем костянных мозгов в черном масле. При этом пил красное и белое вино, а подремав с полчаса, уезжал домой спать, чтобы с 8 вечера быть в Купеческом Клубе, есть целый вечер по особому заказу уже с большой компанией и выпивать массу шампанского. Заказывал в Клубе он всегда сам—и никто из компанейцев ему не противоречил:

— У меня этих разных фоли-жоли, да фрикасе-курасе не полагается... По русски едим—за то брюхо не болит, по докторам не мычемся, полоскаться по заграницам не шатаемся.

И до преклонных лет в добром здоровье дожил этот гурман.

Много их бывало у Тестова.

* * *

А как едали тогда!

Передо мной счет трактира Тестова в 36 рублей с погашенной маркой и распиской в получении денег, и подписями: В. Далматов и О. Григорович. Число—25 мая. Год не поставлен—но кажется 1897-й или 1898-й. Проездом из Петербурга зашли ко мне мой старый товарищ по сцене В. П. Далматов

и его друг О. П. Григорович, известный инженер, москвич. Мы пошли к Тестову пообедать по московски. В левом зале нас встречает патриарх половых, справивший сороколетний юбилей, Кузьма Павлович.

— Пожалуйте, В. А., за Пастуховский стол! Николай Иванович вчера уехали на Волгу рыбу ловить.

Садимся за средний стол, десяток лет занимаемый редактором Московского Листока Пастуховым, где я часто с ним обедал. В белоснежной рубахе, с бородой и головой чуть не белее рубахи, замер перед нами в выжидательной позе Кузьма, успевший что-то шепнуть двум подручным мальчуганам половым.

— Ну-с, Кузьма Павлович, мы угощаем знаменитого артиста!

— Сооруди сперва водочки... К закуске чтобы банки да подносы, а не кот наплакал.

— Слушаюс-с.

— А теперь порадуй слух, сказывай чем угостишь.

— Балычек получен с Дона... Янтаристый... С Кучугура.. Так степным ветерком и пахнет...

— Ладно. Потом белорыбки с огурчиком...

— Манность небесная, а не белорыбка. Иван Яковлевич сами на даче провешивали. Икорка белужья парная... Паюсная Ачуевская—калачики Чуевские. Поросеночек с хреном...

— Я бы жареного с кашей,—сказал Далматов,

— Так холодного не надо-с?

И мигнул половому.

* * *

— Так; а чем покормишь?

— Конечно Тестовскую селянку, заявил Григорович.

— Селяночку—с осетринкой со стерлядкой... живенькая, как золото желтая, нагулянная стерлядка, Мочаловская.

— Растегайчики закрась налимьими печенками...

— А потом я рекомендовал бы натуральные котлетки а ля Жардиньер. Телятина, как снег белая. От Александра Григорьевича Щербатова получаем-с, что то особенное...

— А мне поросенка с кашей в полной неприкосновенности, по Расплюевски, улыбается Далматов.

— Всем поросенка... Да гляди, Кузьма, чтобы розовенького, корочку водкой вели смочить, чтобы хрумтела.

— А вот между мясными хорошо бы лососинку Грилье, предлагает Далматов...

— Лососинка есть живенькая... Петербургская...

— Зеленцы пощеботить прикажите?.. Спаржа, как масло...

— Ладно, Кузьма, остальное все на твой вкус... Ведь не забудешь.

— Помилуйте, В. А.. Сколько лет вам служу...

И оглянулся назад.

В тот же миг два половых тащат огромные подносы Кузьма взглянул на них и исчез на кухню.

Моментально на столе выстроились холодная Смирновка во льду, Английская горькая, Шустовская рябиновка и мой любимый портвейн Леве № 50 рядом с бутылкой Пикона. Еще двое принесли два окорока провесной, нарезанной прозрачно розовыми, бумажной толщины, ломтиками. Еще поднос, на нем тыква с огурцами, жареные мозги дымились на черном хлебе и два серебряных жбана с серой зернистой и блестяще-черной ачуевской паюсной икрой. Неслышно вырос Кузьма с блюдом семги, украшенной угольниками лимона.

— Кузьма, а ведь ты забыл меня.

— Никак нет-с... Извольте посмотреть.

На третьем подносе стояла в салфетке бутылка Эля и три стопочки.

— Нешто можно забыть, помилуйте-с.

Выпили по первоначалу „под селедочку".

— Для рифмы, как говаривал И. Ф. Горбунов: водка— селедка.

Потом под икру ачуевскую, потом под зернистую с крошечным растегаем из налимьих печенок по рюмке сперва

белой холодной Смирновки со льда, а потом ее, же подкрашенной Пикончиком, выпили английской под мозги и зубровки под салат Оливье... После каждой рюмки тарелочки из под закуски сменялись новыми...

Кузьма резал дымящийся окорок ветчины, подручные черпали серебряными ложками зернистую икру и раскладывали по тарелочкам. Розовая семга сменялась янтарным балыком... Выпили по стопке Эля „для осадки". Постепенно закуски исчезали и на места их засверкали дорогого фарфора тарелки и серебро ложек и вилок—а на соседнем столе курилась селянка и, розовели круглые растегаи.

— Селяночки-с!..

И Кузьма пластически-красиво перебросил на левое плечо салфетку, взял вилку и ножик подвинул к себе растегай, взмахнул пухлыми белыми руками, как голубь крыльями, моментально и беззвучно обратил рядом быстрых взмахов растегай в десятки узких ломтиков, разбегавшихся от цельного куска серой налимьей печенки на средине к толстым зарумяненным краям пирога.

— Розан Китайский, а не пирог! Восторгался Далматов.

— Помилуйте-с, сорок лет режу—как бы оправдывался Кузьма принимаясь за следующий растегай.

— Сами Влас Михайлович Дорошевич, хвалили меня за кройку розанчиком.

— А давно он был?

— Завтракали. Только перед Вами ушли... С Александром Валентиновичем были.

— Поросенка с хреном, конечно, ели?..

— Шесть окорочков под водочку изволили скушать...

— Очень любят с хренком и со сметанкой...

Мы продолжали есть а оркестрион в соседнем большом зале выводил:

Вот как жили при Аскольде
Наши деды и отцы...

* * *

Трактир Тестова был из русских трактиров, которые в прошлом столетии были больше в моде, а потом уже стали себя называть ресторанами—потому мода такая пошла. Тогда в центре торгового города был ресторан только один—Славянский базар, а остальные все только трактиры, потому что главный посетитель был старый русский купец, И каждый из „городских" трактиров—я разумею только район Ильинки и Никольской,—отличался своими обычаями, своим каким-нибудь особенно хорошо приготовленным блюдом и имел своих постоянных посетителей. И во всех этих трактирах служили половые—Ярославцы, в белых рубахах из самого дорогого голландского полотна, выстиранного до блеска.

... — Белорубашечники.—Половые...—Шестерки... Их прозвания.

— Почему шестерки?

— Потому что служат тузам, королям и дамам... И всякий валет даже червонный им приказывает...

Объяснил мне когда то старый половой Федотыч и улыбаясь добавил:

— Ничего! Козырная шестерка и туза бьет!

Но пока шестерка станет козырной много ей мытарств надо пройти.

В старые времена половыми в Московских трактирах специально были „ярославцы".

— Ярославские водохлебы!

Потом, когда трактиров стало больше, появились половые из деревень Московской, Тверской, Рязанской и других соседних губерний. Их привозили в Москву мальчиками в трактир, кажется Соколова, где то около Тверской заставы, куда трактирщики и обращались за мальчиками. Здесь была биржа будущих шестерок. Привозили обыкновенно родители, которые и заключали с трактирщиками контракт на выучку, лет на пять. Условия были разные, смотря по трактиру.

Мечта у всех попасть в Эрмитаж или к Тестову. Туда брали самых ловких смышленых и грамотных ребятишек, где они и проходили свой трудный стаж на звание полового.

Сначала мальчика ставили на год в судомойки. Потом если найдут его понятливым, переводят в кухню, ознакомить с подачей кушаний. Здесь их выучивают названиям, внешнему виду, и он узнавал,—что осетрина „америкен" под красным соусом и осетрина „паровая" под белым, котлеты отбивные не смешивал с натуральными, картофель Лионез с картофелем „а ля Пушкин" и рябчика с куропаткой. В полгода он навострится под опытным руководством поваров, и тогда на него надевают белую рубаху:

— Все соуса знает! Рекомендует главный повар.

И вот, не менее четырех лет он состоит в подручных приносит с кухни блюда, убирает со стола посуду, учится принимать от гостя заказы—и наконец на пятом году своего учения удостаивается получить:

— Лопаточник для марок и шелковый пояс, за который затыкается лопаточник,—и служит в зале.

К этому времени он обязан иметь 1/2 дюжины белых модеполановых—а кто в состоянии, то и голландского полотна— рубах и штанов, всегда снежной белезны и не помятых.

Старые половые, посылаемые на крупные ресторанные заказы имели фраки—а в единственном тогда „Славянском базаре", служили во фраках и назывались не половыми, а оффициантами, а гости их звали:—человек!

Потом „фрачники" появились в загородных ресторанах. Расчеты с буфетом производились марками. Каждый из половых получал утром из кассы по 25 р. медных марок, от 3 р. до 5 коп. штука, и, передавая заказ гостя, вносил их за кушанье, которые и получал обратно, платя деньги полученные от гостя. Деньги, данные на чай вносились в буфет, где записывались и делились поровну. Но всех денег никто не вносил и ухитрялся часть, а иногда и большую, прятать, сунув куда нибудь подальше. Эти деньги назывались у половых

— Подвенечные.

— Почему подвенечные?

— Это старина. Бывалоче в деревне в избе мальчишками копеечки от родителей прятали, совали в пазы, да в щели, под венцы. Объясняли старики.

Половые и оффицианты жалованья в трактирах и ресторанах не получали, а еще сами хозяевам платили из получаемых доходов, или определенную сумму, начиная от 3-х рублей в месяц и выше или 20% с чайных вносимых в кассу. И единственный трактир „Саратов" был исключением: там никогда хозяева, ни прежде Дубровин, ни после Савостьянов не брали с половых, а сами до самого закрытия трактира платили и половым и мальчикам по 3 рубля в месяц.

— Чайные—их счастье. Нам чужого счастья не надо, а за службу мы платить должны.—Говаривал Савостьянов. Сколько часов работали половые, носясь по залам, с кухни и на кухню, иногда находящую внизу, а зал в третьем этаже— и учесть нельзя. В некоторых трактирах чуть ли не по 16 часов в сутки. Особенно трудна была служба в простонародных трактирах, где подавался чай—5 коп. пара, т. е. чай и два куска сахару на одного—да и то заказчики экономили:

Садятся трое, распоясываются и заказывают:—Два и три! И несет половой за гривенник две пары и три прибора. Третий прибор бесплатно. Да раз десять с чайником за водой сбегает-

— Чай то жиденек, попроси подбавить! Просит гость.

Подбавят—и еще бегай за кипятком.

Особенно трудно было служить в извозчичьих трактирах.

Извозчичьих трактиров было очень много в Москве: Двор, с колодами для лошадей снаружи—а внутри „каток" со снедью.

На катке все: И щековина, и сомовина, и свинина. Извозчик с холода любил пожирнее, и каленые яйца и калачи и ситнички подовые на отрубях, а потом обязательно гороховый кисель. И многие миллионеры московские, вышедшие из бедноты любили здесь полакомиться, старину вспомнить. А если сам не пойдет, то малого спосылает:

Принеси-ка на двугревинный рубца. Да пару ситничков захвати или калачика!

А постом—

— Киселька горохового, да пусть пожирнее маслицем попостнит!

И сидит в роскошном кабинете вновь отделанного амбара и наслаждается его степенство, да недавнее прошлое свое вспоминает. А в это время о миллионных делах разговаривает с каким нибудь иностранным коммиссионером.

Извозчик в трактире и питается и согревается. Другого отдыха, другой еды у него нет. Жизнь в сухомятку. Чай да требуха с огурцами. Изредка стакан водки, но никогда пьянства на деле. Раза два в день, а в мороз и три, питается и погреется зимой или высушит на себе мокрое платье осенью, и все это удовольствие стоит ему шестнадцать копеек: пять копеек чай, на гривенник снеди до отвала, а копейку дворнику за то, что лошадь напоит да у колоды приглядит.

В центре города были излюбленные трактиры у извозчиков:

„Лондон" в Охотном, „Коломна" на Неглинном, в Брюсовском переулке, в Б. Кисельном и самый центральный в Столешниковом, где теперь высится дом № 6 и где прежде ходили стада кур, и большой рыжий дворовый пес Цезарь сидел у ворот и не пускал оборванцев во двор.

В каждом таком трактире был обязательно свой зал для извозчиков, где красовался увлекательный „каток", арендатор которого платил большие деньги трактирщику и старался дать самую лучшую провизию, чтобы привлекать извозчика, чтобы он говорил:

— Едем в Столешники. Лучше катка нет!

И едут извозчики в Столешники потому, что там очень уж сомовина жирна и ситнички всегда горячие.

А в праздничные дни к вечеру трактир сплошь битком набит пьяными—места нет. И лавирует половой между пьяными столами, вывертываясь и изгибаясь, жонглируя над го-

ловой высоко поднятым подносом на ладони и на подносе иногда пять и семь — т. е. два чайника с кипятком и семь приборов...

И на чай посетители, требовавшие только чай—ничего не давали, разве только иногда две или три копейки, да и то за особую услугу:

— Малой, смотайся ко мне на фатеру, да скажи самой, что я обедать не буду, в город еду. Приказывает сосед-подрядчик и „малый", иногда по дождю и грязи, иногда в двадцатиградусный мороз, накинув на шею или на голову грязную салфетку, мчится в одной рубахе через улицу и исполняет приказание постоянного посетителя, которым хозяин дорожит. Одеваться некогда—по шее попадет от буфетчика.

Или извозчик приказывает:

— Сбегай-ка на двор, там в санях под седушкой вобла лежит. Принеси. Знаешь моя лошадь, гнедая с лысинкой.

И бежит раздетый мальчуган между сотней лошадей извозщичьего двора искать „гнедую с лысинкой" и „воблу под седушкой".

А сколько их заболевало воспалением легких!

С пьяных получать деньги было прямо таки подвигом полчаса держит и ругается пьяный посетитель, пока ему протолкуешь.

А протолковывать опытные ребята умели и в этом доход их был.

И получить с'умеют.

— Ну как, заправил?

— Петра то Кирилыча? Так, махонького... А все таки...

* * *

Петр Кирилыч — личность историческая, и теперь упоминается то и дело и, кажется вечная — всех переживет. Забыли всех героев и царей, а он жив и доселе. И будет жить долго. Пойдите в любой кооператив—то и дело слышно:

— Да ты мне Петра-то Кирилыча не заправляй!

Если бы в словаре Брокгауза и Ефрона была его биография—то написали бы так:

— Родился в 40-х годах в деревне Углицкого уезда, Ярославской губ. Десятилетним мальчиком был привезен в Москву. Был в трактире Гурина судомойкой, мальчиком и половым.

А теперь буду продолжать то, что слышал от людей, лично знавших его, этого самого Петра Кириловича.

„Петр Кирилов", благодаря которому и были введены марки, был действительное лицо, увековечившее себя не только в Москве, но и в провинции. Даже в далекой Сибири между торговыми людми не редко при подании счета по сю пору слышится:

— Опять „Петра Кирилова" заправил!

А отчего Петра Кириллова!? При чем тут „Петр Кириллов"?—Разве только какой-нибудь старый московский посетитель Гурина и Тестова или старик, трактирный слуга, скажет, потому, что он Петра Кирилловича лично знал и даже с уважением относился к нему.

Да, Петр Кириллович существовал. Фамилии его и тогда никто не знал—известно было только, что он ярославец и десятки лет служил в трактире Гурина, а потом, кажется, и у Тестова в 70-х годах, когда еще не было марок и запрещалось половым иметь кошельки, бумажники и даже карманы в брюках—и у рубашек карманов не было.

Кушанья заказывали на слово, деньги, полученные от гостя в руках, на виду у всех несли за буфет, прямо от гостя, ни куда ни заходя, платили, получали сдачу и на тарелке несли ее тоже прямо от буфета, не остававливаясь, к гостю. Если последний давал на чай, то чайные деньги сдавали в буфет на учет и делили после. Кажется уж ничего сделать нельзя—а Петр Кириллович ухитрялся. Он как то прятал деньги в руку на ходу, потом засовывал их в диван, куда садился знакомый подрядчик, который брал и уносил эти деньги, вел им счет и после, на дому, рассчитывался с Петром Кирилловичем

И многие знали, а поймать не могли:

— Уж очень ловок был. Даст бывало гость ему сто рублей разменять. В миг разменяет, сочтет на глазах гостя, тот положит в карман—и конец делу. А другой гость сам пересчитает:

— Чего ты принес? Тут пятишки нет, всего 95...

Удивится Петр Кириллов. Сам перечтет, положит деньги на стол, поставит сверху на них солонку или тарелку...

— Верно, не хватает пятишки! Сейчас сбегаю, не обронил ли на буфете. Через минуту возвращается сияющий и бросает пятерку...

— Ва́ша правда... На буфете забыл. И кладет пятерку гостю.

Гость доволен—а Петр Кирилович вдвое:

В то время когда он пересчитывал—успел стащить красненькую—а добавил пятерку, которую не додал...

А если гость пьяненький—он получал с него так:

Выпил, положим, гость 3 рюмки водки и с‘ел три пирожка. Водка в графине размерена, буфетчик сразу определит 3 или 4 рюмки выпито, и пирожки отпускаются по счету. Значит за 3 рюмки и три пирожка надо сдать в буфет 60 копеек.

А гость сидит носом поклевывает и торопится уйти

— Сколько с меня?

— С вас-с... Вот изволите видеть—загибает у себя пальцы, считая. По рюмочке три рюмочки, по гривенничку, три гривенничка—тридцать, три пирожка по гривенничку—тридцать, три рюмочки тридцать.

Папиросок не изволили спрашивать?—два рубля тридцать.

— Сколько?

— Два рубля тридцать!

— Почему такое.

— Да как же-с. Водку кушали, пирожки кушали, папирос—сигар не спрашивали, и загибает пальцы:

— По рюмочке три рюмочки, по гривеннику три гривенника тридцать, три пирожка—тридцать. По гривеннику три

гривенника, по рюмочке три рюмочки, - да три пирожка— тридцать Папиросочек—сигарочек не спрашивали—два рубля тридцать...

Бросит, ничего не понявший гость, трешницу... Иногда и сдачи не возмет—как ошалелый.

А буфетчиков он обсчитывал, как хотел.

И все знали, что обсчитывает и никак никто понять не мог как именно, а товарищи половые радовались.

— Вот молодчина! И учились—но не у всех выходило.

Купцы, потехи ради, ловили Петра Кирилловича, но всегда он выходил победителем...

И оставил Петр Кириллозич свое имя в памяти до сего времени, а когда марки ввели, то он уже устарел и уехал на покой в свой богато обстроенный дом на Волге, где то за Угличем.

И сказывали земляки, что когда он являлся за покупками в свой Углич, то купцы особенно уважали его, богатого покупателя, но все таки несмотря, на уважение, по привычке приписывали в счетах, и он сердился, делал замечание:

— А ты Петра Кирилыча хоть мне-то не заправляй!

И сейчас еще жив сапожник Петр Иванович, который хорошо помнит Петра Кирилыча, так как ему сапоги шил. Петр Иванович каждое утро пьет чай в „Обжорке“ где собираются старинные половые.

Московские купцы,-любившие всегда над кем нибудь посмеяться, говорили ему—Ты, Петр, мне не заправляй Петра Кирилловича! Но Петр Кириллович иногда отвечал купцу— он знал кому и как ответить—так:

— И все-то я у вас на уме, все я. Это на пользу. Небось по счетам когда платите—сейчас обо мне вспоминаете, глянь, и наживете. И сами когда счета покупателю пишете тоже меня не забудете. На чаек бы с вашей милости!

И приходилоеь давать и уж больше не повторять своих купеческих шуток.

Впрочем, этой чисто купеческой привычкой насмехаться и глумиться над беззащитными, некоторые половые умело пользовались. Они притворялись оскорбленными и выуживали на чай. Был такой у Гурина половой Иван Селедкин. Это была его настоящая фамилия, но он ругался когда его звали по фамилии, а не по имени. Не то что по фамилии назовут, но даже в том случае, если гость прикажет подать селедку, он свирепствует:

— Я тебе дам мерзавцу селедку! А по морде хочешь?

В трактире всегда сидели свои люди, знали это и никто не обижался. Но едва не случилась с ним беда. Это было уже у Тестова, куда он перешел от Гурина. В зал пришел и занял стол переведенный в Москву на должность начальника жандармского управления генерал Слезкин. Он с компанией занял стол и заказывал закуску. Получив приказ, половой пошел за кушаньем, а вслед ему Слезкин крикнул командирским голосом:

— Селедку не забудь, селедку!

И на несчастье из другой двери в это время входил Селедкин. Он не видел генерала, а только слышал слово „селедку".

— Я тебе, мерзавец, дам селедку! А по морде хочешь?

Угрожающе обернулся—и замер.

Замерли и купцы:

У кого ложка остановилась у рта. У кого разбилась рюмка. Кто поперхнулся и задыхался, боясь кашлянуть.

Чем кончилось это табло—не знаю. Знаю только, что Селедкин продолжал свою службу у Тестова.

В трактире Егорова, в Охотном, славившемся блинами и рыбным столом, а также и тем, что в трактире не позволялось курить, т. к. хозяйн был по старой вере—был половой Козел.

Старик с огромной козлиной седой бородой, да еще Тверской, был прозван весьма удачно и не выносил этого слова, которого вообще Тверцы не любили. Охотнорядские купцы

потешались над ним обыкновенно так: Занимали стол, заказывали еду, а посреди стола клали незавязанный пакет. Когда старик ставил кушанье и брал пакет, чтоб освободить место для посуды—он снимал с верху бумагу—а там игрушечный козел! Схватывал старик этого козла и с руганьем бросал его об пол. Но если игрушка была ценная из хорошего магазина—он схватывал и убегал, и прятал игрушку. А в следующий раз купцы опять покупали козла. Под старость Козел служил в „Монетном“ у Обухова, в Охотном ряду, где встарину был монетный двор.

Был еще у Арсентьича половой, который не выносил слова „лимон“. Говорят, что когда-то он украл в складе мешок лимонов, загулял у девочек, а они мешок развязали и вместо лимонов насыпали гнилого картофеля.

Много таких предметов для насмешек было, но иногда эти насмешки и горем отзывались. Так половой у Лопашова, уже старик, действительно не любил, когда ему с усмешкой заказывали поросенка. Это напоминало ему горький случай из его жизни.

Приехал он еще в молодости в деревню на побывку к жене, привез гостинцев. Жена жила в хате одна и кормила небольшого поросенка. На несчастие, когда муж постучался—у жены в гостях был ее любовник. Испугалась, спрятала под печку любовника, впустила мужа и не знает как быть. Тогда она отворила дверь, выгнала поросенка в сени, из сеней на улицу да и закричала мужу:

— Поросенок убежал, лови его! И сама побежала с ним. Любовник в это время ушел—а сосед всю эту историю видел и рассказал ее в селе—а там односельчане половые привезли в Москву и дразнили несчастного до старости... Иногда плакал старик.

Но у Лопашова публика была очень солидная и если и смеялись над несчастным—так это только в черной половине.

Трактир Лопашова, на Варварке был из древнейших. Сначала он принадлежал Мартьянову, но после смерти его перешел к Лопашову.

Лысый, с подстриженными усами, начисто выбритый, всегда в черном дорогом сюртуке Алексей Дмитриевич Лопашов пользовался особым уважением и одинаково любезно относился к гостям кто бы они ни были. У него были все равны—и миллионеры парадных комнат и посетители зала простонародного, где были очень дешевы кушанья, но мясо и рыба были всегда первый сорт. А вверху был большой кабинет, называемый „Русская изба", вся убранная расшитыми полотенцами и деревянной резьбой. Посередине стол на 12 приборов с шитой русской скатертью и вышитыми полотенцами вместо салфеток. Сервировался он старинной посудой и серебром: чаши, кубки, стопы, стопочки Петровских и ранее времен. Меню обыкновенно он предлагал тоже до-петровских времен и исполнял с исторической точностью. Здесь давались небольшие обеды особенно знатным иностранцам, и кушанья французской кухни здесь не подавались, хотя вина шли и французские, но перелитые в старинную посуду с надписью—фряжское, фалернское, мальвазия, греческое и т. п. а для шампанского подавался огромный серебрянный жбан, в ведро величины, и черпали вино серебрянным ковшом, а пили кубками.

Раз только Алексей Дмитриевич изменил меню в „Русской избе", сохранив всю обстановку. Надо сказать, что неизменными посетителями этого трактира были все московские Сибиряки. Повар, специально выписанный Лопашовым из Сибири делал пельмени и строганину удивительные. — И вот, как-то 80-х годах с'ехались из Сибири золотопромышленники самые крупнейшие и обедали по сибирски у Лопашова в этой самой „избе", и на меню стояло: „Обед в стане Ермака Тимофеевича" и на нем значилось только две перемены: 1-ое закуска и 2-ое „Сибирские пельмени".

Никаких больше блюд не было, а пельменей на 12 обедавших было приготовлено 2500 штук и мясные и рыбные и фруктовые в розовом шампанском... Так и хлебали деревянными ложками.

У Лопашова, как и в других городских богатых трактирах, у крупнейших коммерсантов были свои излюбленные столики, неуклонно в известные часы занимавшиеся ими. Приходили с покупателями, главным образом, крупными провинциальными оптовиками, первым делом заказывали, если вдвоем—2 пары чаю, за 15 коп, а если втроем, то спрашивали:

— Два и три.

Постом сахару не подавалось, а приносили липовый мед. Сахар считался тогда скоромных: через говяжью кость перегоняют! И вот за этим чаем, в пятиалтынный, вершились дела не менее, чем на десятки, а то и сотни тысяч. И только тогда, когда кончили дело, начинался завтрак, или обед продолжать который переходили в кабинеты.

Таков же был трактир и „Арсентьича" в Черкасском переулке, славившийся русским столом, удивительной ветчиной, осетриной и белугой, которые подавались на закуску к водке с хреном и красным хлебным уксусом и нигде вкуснее не были. Щи с головизной у Арсентьича были изумительные и Гл. И. Успенский приезжая в Москву никогда не миновал ради этих щей Арсентьича.

За ветчиной, осетриной и белугой в 12 часов посылали с судками служащих те богатые купцы, которые почему либо не могли в данный день пойти в трактир и принуждены были завтракать у себя в амбарах.

Это был самый степенный из всех Московских трактиров, кутежей в нем не было никогда. Если уж какая нибудь компания и увлечется лишней чаркой водки благодаря „хренку с уксусом" и горячей ветчине—то выходит во время и перебирается в кабинеты к Бубнову или в „Славянский базар", а то и прямо „попадает к Яру".

Купцы обыкновенно в трактир идут, в амбар едут, а к Яру и вообще „за заставу"—попадают!

У Арсентьича было сытно, и если можно так выразиться—омашнисто. Так же как в знаменитом Егоровском трактире

с тою только разницею, что здесь разрешалось курить. В Черкасском переулке в 80-х годах был еще трактир кажется Понамарева в д. Карташова. И домика этого давно нет. Туда ходила порядочная публика.

Во втором зале от входа, в переднем углу, под большим образом с неугасимой лампадой, за отдельным столиком целый день сидит старик совершенно неподходящий к благообразной, всегда опрятно одетой публике. Нечесанный и судя по пыли и давно не бритой щетине бороды, редко умывающийся, обшерханный, чуть не оборванный, он производит впечатление подпольного аблаката от Иверской. Но он сидит целый день. К его столику подходят очень приличные, даже богатые, известные Москве люди. Нек торым он предлагает сесть. Некоторые от него уходят радостные, некоторые очень огорченные.

А он сидит, сидит и пьет давно остывший чай. А то вынет пачки серий или займов и режет купоны.

Это был владелец этого дома, первогильдейский купец Григорий Николаевич Карташов. Квартира его была рядом с трактиром, в ней он жил одиноко, спал на голой лежанке, положив под голову, что нибудь из платья. В квартире никогда не натирали полов и не мели.

Ночи он проводил в подвалах, около денег, как „скупой рыцарь“. Вставал в 10 часов утра и аккуратно в 11 часов шел в трактир. Придет. Сядет. Подзовет полового.

— Вчерашних щец кухонных осталось?

— Должно осталось.

— Вели-ка разогреть... А ежели кашка осталась, так и кашки...

Поест—это на хозяйский счет,—а потом чайку спроснт за наличные:

— Чайку, одну парочку за шесть копеек, да копеечную сигару.

Являются заемщики. Придет, сядет.

— Чего хочешь?

— Выпил бы чайку.

— Ну и спрашивай себе. За чай и за цигарку заплати сам.

И заемщик должен себе спросить чаю, тоже пару, за 6 копеек. А если спросит 1/2 порции за 30 копеек или закажет вина или селянку—разговоры кончены:

— Ишь ты какой роскошный! Уходи вон, таким транжирам денег не даю.

И выгонит.

Это все знали и являвшийси к нему богатый купец или барин - делец курил копеечную сигару и пил чай за 6 копеек затем занимал десятки тысяч под вексель. По мелочам Карташев не любил давать. Он брал огромные проценты, но никогда никого не преследовал судом, и было много случаев, что деньги за должниками пропадали.

И целый день Г. Н. сидел на этом месте, разложив на столе кучу серий и бумаг, от которых он тут же резал купоны.

Вечером за ним приходил его дворник Квасов и уводил его домой.

Десятки лет такой образ жизни вел Карташов, не посещая никого, даже свою сестру, которая была замужем за стариком Обидиным, тоже миллионером, унаследовавшим впоследствии и десятки Карташовских миллионов.

Только после смерти Карташова выяснилось, как он жил: в его комнатах, покрытых слоями пыли, в мебели, за обоями, в отдушинах, найдены были пачки серий, кредиток, векселей. Главные же капиталы хранились в огромной печи, к которой было приложено нечто вроде гильотины: заберется вор — пополам его перерубит. В подвалах стояли железные сундуки, где вместе с огромными суммами хранились груды огрызков с‘экономленного сахару, стащенные со столов куски хлеба, баранки, веревочки и грязное белье.

Найдены пачки просроченных векселей, и купонов, дорогие собольи меха, с‘еденные молью, и рядом—свертки полу-

империалов более, чем на 50,000 рублей. В другой пачке на 150,000 кредитных билетов и серий,— а всего состояния было более 30 миллионов.

* * *

В „городе“ был еще один русский трактир. Это в доме Казанского подворья, по Ветошному переулку, трактир Бубнова. Он занимал два этажа этого громадного дома, и бельэтаж с амфиладой роскошно отделанных зал и уютных отдельных кабинетов.

Это был трактир разгула, особенно отдельные кабинеты, где отводили душу купеческие сынки и солидные бородачи купцы, загулявшие во всю, на целую неделю, а потом жаловавшиеся с похмелья:

— Ох, трудна жизнь купецкая: день с приятелем, два с покупателем, три дня так, а в воскресенье разрешение вина и елея и к Яру велели...

К Бубнову переходили после делового завтрака от Лопашова и Арсентьича, если лишка за галстух перекладывали, а от Бубнова уж куда угодно, только не домой. На неделю разгул бывал. Много я знавал таких загуливающих типов. Один, например, пьет мрачно по трактирам и притонам, безобразничает и говорит только одно слово:

— Скольки?!

Вынимает бумажник, платит и вдруг ни с того ни с сего схватит бутылку шампанского и хлесть ее в зеркало. Шум. Грохот. Подбегает прислуга, буфетчик. А он хладнокровно вынимает бумажник и самым деловым тоном спрашивает:

— Скольки?

Платит не торгуясь и снова бьет...

А то еще один из замоскворецких, загуливавших только у Бубнова, и не выходивший дня по два из кабинетов, раз приезжает ночью домой на лихаче с приятелем, ему отворяют ворота—под‘езд его дедовского дома был со двора, а двор был окружен высоким деревянным забором—а он орет:

— Не хочу в ворота, ломай забор! Не поеду!

Хозяйское слово крепко и кулак его тоже. Затворили ворота сломали забор и его степенство победоносно в'ехало во двор, и на другой день никакого раскаяния, и купеческая удаль еще дальше разгулялась. Утром жена ему, еще не проспавшемуся с похмелья, начинает выговор делать—а он на нее с кулаками:

— Кто здесь хозяин? Кто? Ежели я хочу как, так тому и быть!

— А вы бы, Макарий Паисиевич, в баньку сходили—помылись бы. Полегчает...

— Желаю. Мыться!

— А я баньку велю истопить.

— Не хочу баню! Топи погреб!

И добился того, что в погребе стали печку ставить и на баню переделывать...

* *

Но Бубновский верх еще был приличен. Нижний же этаж нечто неподобное.

— Что у тебя рожа на боку и глаз не глядит?

— Да так вчера вышло...

— Аль в Дыру попал?

— Угодил!

Нижняя половина трактира Бубнова другого названия и не имела:

— Дыра.

Бубновская Дыра.

Благодаря ей и верхнюю, чистую часть, тоже называли— Дыра. Под верхним трактиром огромный подземный подвал, куда ведет лестница больше чем в 20 ступеней. Старинные своды невероятной толщины—и ни одного окна. Освещается газом. По сторонам деревянные каютки—это „коморки" полутемные и грязные. По середине стол, над которым мерцает в табачном дыме газовый рожок. Вокруг стола четыре деревянных стула. В залах, на столах такие же грязные скатерти, такие же стулья.

Гостинnодворское купечество, ищущее „за грош да пошире“ или „пошире да за грош“ начинает здесь гулянье свое с друзьями и такими же покупателями с десяти утра. Пьянство, гвалт и скандалы целый день до поздней ночи. Жарко от газа, душно от табаку и кухни. Песни, гогот, ругань. Приходится только пить и на ухо орать, так как за шумом разговаривать, сидя рядом, нельзя. Ругайся, как хочешь—женщины сюда не допускались. И все лезет новый и новый народ—и как не лезть, когда здесь все дешево: порции огромные, закуска даром, водка рубль бутылка, вина тоже от рубля бутылка, разные портвейны, мадеры, лиссабонские московской фабрикации вплоть до Ланинского двухрублевого шампанского, про которое тут же и песню пели:

От Ланинского Редерера
Трещит и пухнет голова...

Пили и ели—потому, что дешево, и никогда полиция не заглянет, и скандалы кончаются тут же, а купцу главное чтобы „сокровенно“ было. Ни в одном трактире не было такого гвалта, как в Бубновской дыре.

В „городе“ более интересных трактиров не было, вроде разве явившегося впоследствии в подвалах Городских Рядов „Мартьяныча“, рекламировавшего во всю и торговавшего на славу, повторяя собой во всех отношениях „Бубновскую дыру“.

Только здесь разгул увеличивался еще тем, что сюда допускался и женский элемент, чего в „Дыре“ не было.

Фешенебельный „Славянский базар“ с дорогими номерами, где останавливались и важные Петербургские министры и сибирские золотопромышленники и степные помещики, владельцы сотен тысяч десятин земли и... аферисты и петербургские шуллера, устраивавшие картежные игры в двадцатирублевых нумерах.

Ход из нумеров был прямо в ресторан, через корридор отдельных кабинетов.

— Сватайся и женись.

Обеды бывали в ресторане не популярными, ужины тоже—разве после цыганских вечеров и музыкальных концертов в „Русской палате“ Славянского базара. Зато завтраки, от 12 до 3 ч., были модными, как и в Эрмитаже, да и публика была такая же: те-же московские миллионеры с биржи и городских амбаров. Каждую компанию ждал свой стол, а некоторые компании купцов—выпивохинцев занимали свои кабинеты. Обыкновенно, после „трудов праведных“ на бирже эти компании чисто делового купечества являлись во втором часу и, завершив за столом миллионные сделки, к трем часам уходили. Оставшиеся после трех кончали „Журавлями“ и перекочевывали к Яру или на бега и скачки.

— Завтракали до „Журавлей“, была пословица.

И люди понимающие знали, что значит завтрак был в „Славянском Базаре“, где компания, закончив шампанским и кофе с ликерами, требовала „Журавлей“.

Так назывался запечатанный шикарный хрустальный графин, разрисованный золотыми журавлями, и в нем был превосходный коньяк, стоивший 50 рублей. Кто платил за коньяк—тот и получал пустой графин на память. Был даже некоторое время спорт коллекционировать эти пустые графины, и у одного коннозаводчика я видел их 7 штук, что он показывал с гордостью.

Здание Славянского Базара было выстроено в 70-х годах А. А. Пороховщиковым, и его круглый двух-светный зал со стеклянной крышей очень красив.

Помню курьез. Сидели за завтраком два крупных афериста. Один другому и говорит:

— Видишь, у меня в тарелке какие-то решетки... Что это значит?

— Это значит, что не минешь ты острога! Предзнаменование!

А в тарелке ясно отразились переплеты окон стеклянного потолка.

* * *

Были еще рестораны загородные, из них лучшие „Яр“ и „Стрельна“, летнее отделение которой называлось „Мавритания“. „Стрельна“, созданная И. Ф. Натрускиным, представляла собою одно из чудес Москвы—это был такой зимний сад—какого говорят, больше нигде не было. Столетние тропические деревья, гроты, скалы, фонтаны, беседки и—как полагается—кругом кабинеты, где всевозможные хоры.

„Яр“ тогда содержал Аксенов — толстый бритый человек весьма удачно прозванный „Апельсином“. Он очень гордился своим Пушкинским кабинетом с бюстом великого поэта, который никогда здесь и не был, а если и писал—

„И телятиной холодной
Трюфли „Яра“ вспоминать“...

то это было сказано о старом „Яре“, помещавшемся в Пушкинские времена на Петровке.

Был еще тоже за Тверской заставой ресторан „Эльдорадо“ Скалкина, „Золотой Якорь“ на Ивановской улице под Сокольниками, ресторан „Прага“, где Тарарыкин с‘умел соединить все лучшее от „Эрмитажа“ и Тестова и даже перещеголял последнего растегаями „пополам“—из стерляди с осетриной. В „Праге“ были лучшие биллиарды, где велась только приличная игра.

Впоследствие пошло увлечение модой и многие из почтенных трактиров стали называться, ни к селу, ни к города, „ресторанами“—даже Арсентьич, перейдя в другие руки стал именоваться в указателе оффициально „Старочеркасский ресторан“—а публика шла все таки в „трактир“ к „Арсентьичу“. Много потом наплодилось „ресторанов“, и мелких ресторанчиков, в роде „Италии“, „Ливорно“, „Палэрмо“ и „Татарского“ в Петровских Линиях, впоследствии переименованного в гостинницу „Россию“. В них было очень дешево и очень скверно... Впрочем исключением был „Петергоф“ на Моховой, где Разживин ввел дешевые дежурные блюда на каждый день и ежедневно публиковал в газетах: „Сегодня в понедельник—

рыбная селянка с растегаем. „Во вторник Фляки"..., По средам и субботам—Сибирские пельмени"... „Ежедневно шашлык из Карачаевского барашка".

Популяризировал шашлык в. Москве Разживин. Первые шашлыки появились у Автандилова, державшего в 70-х годах первый кавказский погребок с великолепными Кахетинскими винами в подвальчике на Софийке. Потом Автандилов переехал на Мясницкую и открыл винный магазин. Шашлыки надолго прекратились, пока в 80-х—90-х годах, в Черкасском переулке, как раз над трактиром „Арсентьича" кавказец Сулханов не открыл без всякого патента при своей квартире кавказскую столовую с шашлыками и—тоже тайно—с кахетинскими винами, специально для приезжих кавказцев. Потом стали ходить и русские. По знакомым он распрострааял свои визитные карточки:

„К. Сулханов. Племянник князя Аргутинского-Долгорукова", и свой адрес.

Всякий посвященный знал, зачем он идет по этой карточке. Кухня и вина были великолепные. Дело разрослось—но косились враги—конкуренты. Кончилось протоколом и закрытием. Тогда Разживин пригласил его открыть кухню при Петергофе.

Заходили опять по рукам карточки: „Племянника князя Аргутинского-Долгорукова" с указанием „Петергофа" и дело пошло великолепно. Это был первый шашлычник в Москве, а за ним наехало сотни кавказцев, и шашлыки стали модными.

Были еще немецкие рестораны, вроде „Альпийской Розы" на Софийке, „Билло" на Бол. Лубянке, „Берлин" на Рождественке, Дюссо на Неглинном, но они не типичны для Москвы, хотя кормили в них хорошо и подавалось кружками настоящее „Пильзенское" пиво.

Из маленьких ресторанов, бывшая на Кузнецком Мосту в подвале дома Тверского подворья, „Венеция" близка моему сердцу по воспоминаниям юности. Там, в отдельном зальце, с запиравшеюся дверью, собирались деды нашей революции.

И удобнее места не было: в 11 часов ресторан запирался, публика расходилась — и тут то и начинались дружеские беседы в этом небольшом с завешенными окнами зале. Закрыта кухня, закрыт буфет, и служит самолично только единственный хозяин ресторана, незабвенный Василий Яковлевич, весь проникнутый революционным духом и чуть не молившийся на каждого из посетителей малого зала... Подавались только водка, пиво и холодные кушанья. Пивали иногда до утра.

— Отдохновенно и сокровенно у меня! Говаривал Василий Яковлевич.

Приходили по одиночке и по двое и уходили также через черный ход по пустынным ночью Кузнецкому Мосту и Газетному переулку (тогда весь переулок от Кузнецкого Моста до Никитской назывался Газетным), до Тверской, в свои „Черныши“ в д. Олсуфьева, где мы обитали и куда приезжали и приходили переночевать нелегальные...

Живо я представляю себе „малый зал“, как важно называл эту комнатенку со сводами Василий Яковлевич. За большим столом освещенным газовой люстрой сидят огромные бородатые и волосатые фигуры: П. Г. Зайчневский, М. И. Мишла-Орфанов, Ф. Д. Нефедов, Н. Н. Златовратский, С. А. Приклонский... Среди них щупленький, с интеллигентско-русой бородкой Н. М. Астырев, тогда читавший нам там корректуры своей книги „В волостных писарях“. Затем, крошечный, бритый актер Вася Васильев, попавшийся было по делу 193-х, но случайно выкрутившийся. Его настоящая фамилия была Шведевенгер—но об этом знали разве только я, да его друг актер М. И. Писарев и Мишла... Изредка бывал здесь В. А. Гольцев, раз был во время какого то побега Герман Лопатин. Собирались здесь года два—а потом все разбрелись, а Василий Яковлевич продолжал торговать и к нему всякий из вышесказанных, бывая в Москве, считал своим долгом зайти, а иногда и перехватить деньженок на дорогу.

Помню Васильев принес как то, только что полученный, № 6, „Народной Воли“ и поздно ночью мы его читали вслух,

не стесняясь Василия Яковлевича. Когда Мишла прочел напечатанное в этом номере стихотворение П. Я. (Якубовича) „Матери“, Василий Яковлевич со слезами на глазах просил его списать, но Вася Васильев отдал ему весь номер.

— Сколько позволите заплатить, Василий Васильевич?

— Сколько хотите. Эти деньги пойдут на помощь политическим заключенным.

— Сейчас.

Василий Яковлевич исчез и принес радужную сторублевку.

— На такое великое дело извольте получить.

Только этим и памятен ресторанчик „Венеция“, днем обслуживающий прохожих на Кузнецком Мосту среднего класса и служащих в учреждениях, а шатающаяся франтоватая публика не удостаивала дешевого ресторанишка, предпочитая ему кондитерские или соседнюю „Альпийскую Розу“ и Билло.

Рестораном еще назывался трактир „Молдавия“, в Грузинах, где днем и вечером была обыкновенная публика, пившая водку и „две и три“ чая, а с пяти часов утра к грязному крыльцу деревянного, голубовато-серого дома под'езжали лихачи одиночки, пары и линейки с цыганами...

Это был цыганский трактир и после „Яра“, „Стрельны“ и „Эльдорадо“ цыгане, жившие все в Грузинах, приезжали „пить чай“ — а с ними и их поклонники...

А невдалеке от „Молдавии“, на Б. Грузинской, в доме Харламова, в эти же часы оживлялся более скромный трактир Егора Капкова. В 6 часов утра чистое зало трактира сплошь было полно фрачной публикой. Это — оффицианты загородных ресторанов, кончившие свою трудовую ночь, приезжали кутнуть в своем кругу: попить чайку, выпить водочки, с'есть селяночку с капустой. И насмотревшись за ночь на важных гостей, сами важничали и пробирали половых в белых рубашках за всякую ошибку и даже иногда, подражая тем, которым они служили час назад, важно подзывали половых:

— Человек, это тебе на чай.

И давал гривенник „человек“ во фраке „человеку“ в рубашке. Фрак прибавлял ему ковычки. А мальчиков-половых экзаменовали. Подадут чай, а старый фрачник колотит ногтем указательного пальца себя по зубам:

— Дай железные! Или прикажет:

— Дай мне в зубы, чтобы дым пошел!

И опытный мальчик подает ему щипчики для сахара, приносит папиросы и зажигает спичку.

* * *

На углу Остоженки и 1-го Зачатиевского переулка в первой половине прошлого века был большой одноэтажный дом занятый весь трактиром Шустрова, который сам с семьей жил в мезонине, а огромный чердак, да еще пристройка на крыше, были заняты голубятней — самой большой во всей Москве. Тучи голубей всех пород и цветов носились над окружающей местностью, когда семья Шустрова занималась любимым московским спортом: гоняла голубей. В числе любителей бывал и богатый трактирщик И. Еф. Красовский. Он перекупил у Шустрова его трактир и уговорил владельца сломать деревянный дом и построить каменный по его собственному плану, под самый большой трактир в Москве. Дом был выстроен каменный, трехэтажный, на две улицы. Внизу лавки, второй этаж под „дворянские“ залы трактира с массой отдельных кабинетов, а третий простонародный трактир, где главный зал, с низеньким потолком был настолько велик, что в нем помещалось больше ста столов и середина была свободна для пляски. Внизу был поставлен оркестрион, а вверху эстрада для песенников и гармонистов.

— Один гармонист заиграет, а сорок человек пляшут А над домом все также носились тучи голубей, потому что и Красовский, и его сыновья были такими же любителями, как и Шустровы, и также кроме чердака, под крышей была выстроена голубятня—„Голубятня!“ Так звали трактир и никто его под другим именем не знал, хотя официально так

не назывался и в печати появилось это название только один раз в московских газетах в 1905 году, в заметке под заглавием

— „Арест революционеров в Голубятне“.

Еще задолго до 1905 года уютные и сокровенные от надзора полиции кабинеты „Голубятни“ служил и местом сходок и встреч тогдашних революционеров, а в 1905 г. там явно бывали огромные митинги.

Очень уж удобные залы выстроил Красовский. Здесь по утрам, с 5 часов собирались лакеи, служившие по ужинам, обедам и свадьбам делить доходы и пить водку. Здесь справлялись и балы, игрались простонародные свадьбы и здесь собиралась „вязка“, где шайка аукционных скупщиков производила рассчеты со своими подручными, сводившими аукционы на нет и отбивавшими охоту постороннему покупателю пробовать купить что-нибудь на аукционе: или из под рук вырвут хорошую вещь или дрянь в такую цену вгонят что навсегда у всякого отобьют охоту торговаться. Это на их жаргоне называлось:

— Надеть „Чугунную шляпу“.

Кроме этой полупочтенной ассоциации „Чугунных шляп“ здесь раза два в месяц происходили петушиные бои. В назначенный вечер часть зала отделялась, посредине устраивалась круглая арена, наподобие цирковой, кругом уставлялись скамьи и стулья для зрителей, в число которых допускались только избранные, любители этого старого московского спорта, где, как впоследствии на бегах и скачках, существовал своего рода тотализатор держались крупные пари за победителя.

К известному часу под'езжали к „Голубятне“ богатые купцы, но всегда на извощиках, а не на своих рысаках, для конспирации, поднимались во 2-й этаж, проходили мимо ряда закрытых кабинетов за буфет, а оттуда по внутренней лестнице, пробирались в отгороженное помещение и занимали места вокруг арены. За ними один за одним, входили через этот зал в отдельный кабинет люди с чемоданами. Это охотники приводили своих петухов, английских бойцовых, без

гребней и без бородок, с остроотточенными шпорами. Начинался отчаянный бой. Арена обливалась кровью. Одичалые зрители с горящими глазами и судорогами на лице, то замирали, то ревели по звериному. Кого-кого здесь не было: и купечество именитое, важные чиновники и богатые базарные торгаши, и театральные барышники, и „Чугунные шляпы". Пари иногда доходили до нескольких тысяч рублей. Фаворитами публики долгое время были выписные из Англии, петухи мучника Ларионова, когда то судившегося за поставку гнилой муки на армию, но на своих петухах опять высковчившего в кружок богатеев, простивших ему прошлое „за удачную петушиную охоту". Эти бои оканчивались в кабинетах и залах 2-го этажа трактира грандиознейшей попойкой.

Конечно, сам Красовский был тоже любитель этого спорта, дававшего ему большой доход по трактиру. Но последнее время, в конце столетия, Красовский сделался ненормальным, больше проводил время на голубятне, не смотря за делом, а если являлся в трактир, то ходил по залам с безумными глазами, распевал псалмы, и... его конечно растащили: трактир, когда-то „золотое дно", за долги перешел в другие руки, а Красовский кончил жизнь почти что нищим.

Кроме голубятни, где то за Москвой рекой тоже происходили петушиные бои — но там публика была сбродная Дрались простые русские петухи, английские бойцовые не допускались. Где именно был этот трактир — не помню. Знаю только, что он назывался „Ловушка". Я был там один раз. Помню, что нас провели через грязный трактир во двор, какими-то закоулками и помойками в холодный сарай, где была устроена арена и где публика была еще азартнее и злее. Третье место боев была „Волна", на Садовой — уж совсем разбойничий притон, наполненный сбродом таинственных ночлежников *).

---

*) Из трущоб — пустыря „Кошаткиной деревни". Так называлось место к Миусам, где стояли отдельные домишки, куда и полиция не смела показать носу. „Кошаткиной деревней" называлось это место пото-

* * *

Я не помню чей это был трактир—но это был один единственный в Москве, где раз в году, во время весеннего разлива, когда с верховьев Москвы реки приходили плоты с лесом и дровами,—можно было видеть—пьяную деревню. Трактир этот, обширный и грязный низок, был в Дорогомилове, как раз у Бородинского моста, на берегу Москвы реки.

Эти несколько дней прихода плотов были в Дорогомилове и гулянкой для Москвичей, запруживавших и мост и набережную, любуясь на работу удальцов — сгонщиков, ловко проводивших плоты под устоями моста, рискуя каждую минуту разбиться и утонуть.

Плоты шли один за другим, канатились рядом на Красном лугу, и плотовщики, усталые и насквозь промокшие, шли рассчитываться с хозяевами плотов в этот трактир. Уж так было заведено годами, что именно в этом трактире хозяева платили деньги сгонщику, старшему на плоту, а тот тут же рассчитывался с гребцами. Трактир в такие дни был полон, и кругом стояли толпы в ожидании очереди... Совершенно особая публика: мужики, мокрые, в рваных полушубках, понитках, в шапках с торчащими охлопками кудели и слезящимися от ветра и усталости отчаянной работы под ветром, глазами на серых лицах... Кое где, кучками, особо, стояли оборванные, грязные, зловещие фигуры золоторотцев из соседней Аржановской крепости, ожидавших пьяную добычу. Их мрачные, опухшие лица облезлые фигуры с искательными где бы урвать, глазами—полная противоположность мужицкому спокойствию.

Из трактира время от времени вываливаются пьяные и с песнями, обнявшись, куда-то идут. Вот проехал извощик с поднятым верхом, из под которого торчат четыре ноги в лаптях, причем один лапоть уперся в спину извощика — это извощик встретил земляков и везет их к себе... Вот двое

му, что там ютились кошкодавы, специально воровавшие кошек для продажи их шкурок.

стариков, обнявшись, как поросята, возятся в луже, и не обращая внимания на это видимое неудобство положения, обнимают друг друга за шею мокрыми руками. Баба уговаривает пьяного мужа, продающего полушубок барышнику. Весь берег около трактира пьян, и полиция благоразумно отсутствует.

А в зале трактира не продохнешь. Все столы, стулья, скамьи заняты всклоченными мужиками, от которых пар валит, как в бане. От сотни голосов, стука посуды и звона медяков, гомон невообразимый. Отдельных голосов не разберешь. Вот за столом у окна хозяин— дровяник раскладывает бумажные рубли, покрытые медяками, на кучки и отодвигает кучки окружающим стол плотовщикам. Поклон, благодарность, и на столе появляются чай, баранки и водка.

Вечереет. На некоторых столах половые бесцеремонно расталкивают кудлатые головы, охмелевшие и недвижимые, становятся между этими головами на стол коленями, чиркают серные спички о спины пьяных и зажигают лампы. Какой-то озорник непотушенную спичку бросил в курчавую голову, вспыхнуло несколько волосков, но обладатель головы провел закорузлой рукой по волосам, потушил пожар, и, как не его дело, продолжал спать. На столе перед ним лежала сдача... Прорвавшийся случайно оборванец бросил на стол свою шапку, прикрыл деньги, и, ловко взяв шапку вместе с деньгами, изчез незримо.

Всю зиму мужик дрова и лес рубил. Плотил плоты по-пояс в ледяной воде. Рисковал каждую минуту во все время, когда плоты мчались вместе с льдинами по бешено несущейся реке—и в один час в этом трактире пропивал все и пешком возвращался домой.

А трактирщик за эту неделю наживал огромные деньги и усиленно старался поддержать старый обычай— рассчитываться с плотовщиками в трактире.

* *
*

У Никитских ворот, в доме Боргеста, был трактир, где одна из зал была увешена закрытыми бумагой клетками с соло-

вьями, и по вечерам и рано утром сходились со всей Москвы сюда любители слушать соловьиное пение. Во многих трактирах были клетки с певчими птицами, как напр. у А. Павловского на Трубе и в Охотничьем трактире на Неглинном. В этом трактире собирались по воскресеньям, приходя с Трубной площади, где продавали собак и птиц, известные московские охотники в числе которых всегда бывали Л. П. Сабанеев, редактор „Природы и Охоты", А. М. Ломовский, Н. М. Левачев—здесь же, за беседой об охоте, задумавшие основать „Русский Охотничий Клуб" и ставшие во главе этого модного впоследствии московского Клуба. А по ту сторону Трубной площади, на Грачевке, собирались собачьи воры с Сашкой Игнатьевым, своим атаманом во главе. Здесь можно было заказать украсть у кого угодно любую собаку и розыскать любую пропавшую ценную, не минувшую рук почтенной собачьей Компании.

* * *

Ан. Тр. Зверев имел два трактира—один в Гавриковом переулке „Хлебная биржа". Там заседали оптовики миллионеры, державшие в руках все хлебное дело и там делались все крупные сделки за „чайком". Это был самый тихий трактир. Даже голосов не слышно. Солидные купцы делают сделки с уха на ухо, разве иногда прозвучит:

— Натура 126...

— А овес?

— Восемьдесят.

И то и дело получают они телеграммы своих агентов из портовых городов о ценах на хлеб. Иной поморщится прочитав телеграмму—убыток. Но слово всегда было верно, назад не попятится. Хоть раззорится, а слово сдержит...

На столах стоят мешочки с пробой хлеба. Масса мешочков на вешалке в прихожей... И на столах, в часы биржи, кроме чая—ничего... А потом уж, после „делов" завтракают и обедают.

Другой трактир у него был на углу Петровки и Рахмановского переулка, в доме д-ра А. С. Левенсона, отца известного впоследствии типографщика и арендатора афиш и изданий казенных театров, Ал. Ал. Левенсона.

Здесь в дни аукционов в ломбардах и ссудных кассах собиралась „Вязка". Это негласное, существовавшее все-таки с ведома полиции, но без оффициального разрешения, общество маклаков, являвшихся на аукционы и сбивавшие цены, чтобы купить даром ценные вещи, что и ухитрялись делать. Вязка после каждого аукциона являлась к Звереву, и одна из зал представляла собой странную картину: на столах золото, серебро, бронза, драгоценности, на стульях материи, из карманов вынимают, показывают и перепродают часы, ожерелья. Тут „вязка" сводит счеты, и делит меж собою барыши и купленные вещи. В свою очередь в зале толкутся другие маклаки, сухаревские торговцы, которые скупают у них товар... Впоследствии трактир Зверева был закрыт, а на его месте находилась редакция „Русского Слова", тогда еще маленькой газетки.

* * *

Сотрудники газет и журналов тогда не имели своего постоянного трактира для сборищ. Зато „фабрикаторы народных книг", книжники и издатели с Никольской, собирались в трактире Колгушкина на Лубянской площади и отсюда шло просвещение сермяжной Руси. Здесь сходились издатели: И. Морозов, Шарапов, Земский, Губанов, Манухин, оба Абрамовы, Преснов, Ступин, Наумов, Фадеев, Желтов, Живарев. Каждая из этих фирм ежегодно издавала по десяти и более „званий", т.-е. наименований книг, от листовки до книжки в шесть и более листов, в раскрашенной обложке, со страшным заглавием и ценою от полутора рубля за сотню штук: Печаталось каждой не менее 6.000 экземпляров. Здесь-то за чайком издатели и давали заказы „писателям".

— Писатели с Никольской! Их так и звали.

Но стены этих трактиров нередко видали и крупных литераторов, прибегавших к издателям с Никольской в минуту карманной невзгоды. А по большей части „сочинители“ были из выгнанных со службы чиновников, офицеров, некончивших студентов, семинаристов, сынов литературной богемы, отвергнутых корифеями и дельцами тогдашнего литературного мира.

Сидит за столиком с парой чая у окна издатель с таким сочинителем.

— Мне бы надо новую „Битву с кабардинцами“.

— Можно, Денис Иванович.

— Поскорей надо. В неделю напишешь?

— Можно-с... На сколько листов?

— Листов на шесть. В двух частях издам.

— Ладно-с. По шесть рубиков за лист...

— Жирно, облопаешься. По два!

— Ну, хорошо, по пяти возьму.

Сторгуются, получается задаток и сочинитель через две недели приносит книгу.

За другим столом сидит с книжником человек с хорошим именем, но в худых сапогах...

— Видите, Иван Андреевич, ведь у всех ваших конкурентов есть и Ледяной дом и Басурман и граф Монтекристо и Три Мушкатера и Юрий Милославский. Но ведь это вовсе не то, что писал Дюма, Загоскип, Лажечников. Ведь там чорт знает какая отсебятина нагорожена... У авторов косточки в гробу перевернулись бы если бы они узнали.

— Ну-к штожь. И у меня они есть. У каждого свой и Юрий Милославский и свой Монтекристо—и подписи Загоскин, Лажечников, Дюма. Вот я за тем тебя и позвал. Напиши мне Тараса Бульбу.

— То есть как Тараса Бульбу? Да ведь это Гоголя!

— Ну-к штожь. А ты напиши как у Гоголя, только измени малость, по другому все поставь да поменьше сделай, в листовку. И всякому интересно, что Тарас Бульба а не такой, другой. И всякому лестно будет—какая мол, это новая

такая Бульба?! Тут, брат, важно заглавие, а содержание наплевать, все равно прочтет, коли деньги заплачены. И за контрфакцию не привлекут- и все таки Бульба,—он Бульба и есть, а слова, то другие.

И после этого появился Тарас Бульба с подписью нового автора совершенно для него неожиданно, так как Морозов самовольно поставил настоящую фамилию его, чего тот уж никак не мог ожидать!

* * *

Там, где до 1918 г. было роскошное здание гостинницы „Националь",в конце прошлого века стоял дом постройки допетровских времен принадлежавший Фирсанову, и в нижнем этаже его был излюбленый палаточными торговцами Охотного ряда трактир „Балаклава" Егора Круглова.

— Где сам? Спрашивают прикащика.

— В пещере с покупателем.

Трактир Балаклава состоял из двух низких, полутемных зал, а вместо кабинетов в нем были две пещеры: правая и левая

Это какие то странные огромные ниши, напоминавшие исторические каменные мешки, каковыми вероятно они и были, судя по необыкновенной толщине сводов с торчащими из них железными толстыми полосами, кольцами и крючьями. Эти пещеры занимались только особо почетными гостями.

По другую сторону площади, в узком переулке за Лоскутной гостинницей существовал Низок—трактир Когтева „Обжорка", где чаевничали разнощики и мелкие служащие, да заседали два-три самых важных „аблаката от Иверской". К ним приходили писать прошения всякого сорта люди. Это было „народное юридическое бюро". За отдельным столиком заседал главный, выгнанный за пьянство крупный судебный чин, который строчил прошения приходившим к нему сюда богатым купцам. Бывали случаи, что этого великого крючкотвора Николая Ивановича посещал здесь сам Плевако.

* * *

Читаю старое меню, актерского ресторана Ливорно 1888 года. „Филей вмадьере 60 ко. Тетереф половина 40 ко. Ряпчик 60 ко. Котлета натурал 40 коп. Поросионок скашей 30 коп. Пельмени 30 коп. Блини 10 шт. 35 ко.“

Ливорно актерским рестораном стал с 1881 года, когда закрылись Щербаки.

Вот это был исконно актерский трактир на углу Петровки, против Кузнецкого моста, где теперь Банк. Он занимал небольшой деревянный дом и владелец его был любимец всех актеров, Спиридон Степанович Щербаков, старик, в долгополом сюртуке, с бородой лопатой. Великим постом Щербаки переполнялись актерами, и все знаменитости того времени были неизменными посетителями и относились к Спиридону Степановичу с большим уважением, и он всех знал по имени-отчеству. Очень интересовался успехами, справлялся о тех кто еще не приехал в Москву на Великий пост. Здесь в клубах табачного дыма мелькали постом все корифеи сцены, Н. К. Милославский, Н. Х. Рыбаков, Павел Никитин, Полтавцев, Григоровский, Васильевы, Дюков, Смольков, Лаухин Медведев, Григорьев, Андреев-Бурлак, Писарев, Киреев и наши Московские знаменитости Малого Театра. Драматурги того времени А. Н. Островский, Н. А. Чаев, К. А. Тарновский и мн. писатели бывали там. Но ежедневными завсегдатаями „Щербаков“ были братья Кондратьевы, тогда еще молодые люди: Балетный, декоратор и драматический, о которых ходили стихи:

И один из этих братьев,
Был по имени Иван,
По фамилии Кондратьев,
По прозванью атаман.

Старик Щербаков был истинным другом актеров и в минуту безденежья, обычной к концу Великого поста, кроме кредита по ресторану, снабжал актеров на дорогу деньгами, и никто не оставался в долгу у него.

Трактир этот славился расстегаями с мясом. Расстегай во во всю тарелку, толщиной пальца в три стоил 15 коп. и к нему, за ту-же цену, подавалась тарелка прекрасного бульона.

И когда, к концу поста, у актеров иссякали средства, они питались только такими расстегаями.

Ранее до Щербаков, актерским трактиром был трактир Барсова в доме Бронникова, на углу Б. Дмитровки и Охотного ряда. Там существовала знаменитая Колонная зала и в ней-то собирались вышеупомянутые актеры и писатели, впоследствии перешедшие в Щербаки, так как трактир Барсова закрылся, а его помещение было занято Артистическим Кружком, и актеры, день проводившие в Щербаках, вечером бывали в Кружке, расцвет которого был при Николае Евстафьевиче Вильде. Это было в первой половине 70-х годов.

В кружке Великим постом происходили встречи актеров с антрепренерами и заключались контракты на предстоящий сезон.

А когда закрылись Щербаки, актеры начали собираться в ресторане Ливорно, в тогдашнем Газетном переулке, как раз на искосок Щербаков.

С 12 до 4-х дня Великим постом Ливорно представлял совершенно особый вид. Сквозь облако табачного дыма в низеньких зальцах стоял гомон невообразимый. Небольшая швейцарская была увешана шубами, пальто, накидками самых фантастических цветов и фасонов. В ресторане, за каждым столом, сплошь уставленным графинами и бутылками, сидят тесные кружки бритых физиономий, обладатели которых пестро и оригинально одеты: пиджаки и брюки водевильных простаков, ужасные жабо, галстуки, жилеты, то белые, то пестрые, то бархатные, а то из парчи. На всех этих жилетах в первой половине поста блещут цепи с массой брелоков. На столах сверкают новенькие серебряные портсигары, некоторые неумело, будто в первый раз в жизни, стараются нацепить на нос золотое пэнсне. Часы поминутно вынимаются и владельцы часов и портсигаров каждому новому лицу в сотый

раз рассказывают о тех овациях, при которых публика поднесла им эти вещи.

Первые три недели актеры поблещут подарками, а там начинают линять: портсигары на столе не лежат, часы не вынимаются, а там уже пиджаки плотно застегиваются, потому что и последнее украшение—цепочка с брелоками, уходит вслед за часами в ссудную кассу. А затем туда же следует и гардероб, за который плачены большие деньги, собранные трудовыми грошами.

С переходом в Ливорно из солидных Щербаков, как-то помельчало сборище актеров: многие из корифеев не ходили в этот трактир, а ограничивались посещением по вечерам Кружка, да заходили в немецкой ресторанчик Вельде, за Большим театром. Григоровский, перекочевавший из Щербаков к Вельде, так говарил о Ливорно:

— Какая-то греческая кухмистерская, спрашиваю чего-нибудь на закуску к водке, а хозяин предлагает:

— Цамая люцае цакуцка—это цудак по глецески!

— Попробовал—мерзость.

Но тем не менее актеры собирались в Ливорно до тех пор, пока его не закрыли. Тогда они стали собираться в трактире Рогова в Георгиевском пер. на Тверской, вместе с охотнорядцами, мясниками и рыбниками.

Вверху в этом доме помещалась библиотека Рассохина и театральное бюро.

А Вельде актеры все таки не оставляли.

* * *

С переходом актеров оживился этот сентиментально сонливый ресторан Вельде. На мраморных столиках, где прежде мирно, часами ожидали шниты и кружки пива прикосновения к губам обрусевших, от‘евшихся русскими хлебами немцев, и сквозные чисто немецкие тонкие как лист бумаги бутербродики всех сортов лежали, поглядывая на хорошенькую блондинку—немку, стоявшую за буфетом, и, молчаливо принимавшую от юрких лакеев во фраках с засаленными фалдами

лепту—теперь высятся обставленные разными закусками флаконы Смирновки, слезы, „вдовы Поповой“ и иностранные бутылки с Московскими винами. Немецкий элемент стушевался и исчез. Могучая русская речь, пересыпаемая еще более могучими восклицаниями висит в воздухе, наполненном дымом сигар и папирос... Маленькая швейцарская набита шубами, и два швейцара еле успевают раздевать и одевать входящих и выходящих...

У буфета вокруг высокого лысого усача толпа актеров.

— Саша, еще по одной, упрашивает его маленький актерик в пенснэ.

— Для тебя изволь.

Буфетчик наливает шесть рюмок.

— Что ты сделал? А? Что сделал? Становясь в трагическую позу молвил усач.

— Налил-с.

— Да разве я такими наперстками пью. Это воробья причащать! Мою давай!

Мигом вместо обыкновенной рюмки явилась громадная „Кондратьевская“ как ее называли.

— Водки, раздается громовый бас с одного из столов, так что все пьющие оборачиваются.

— Во-одки-и! орет сидящий у окна полный красивый с раскрасневшимся лицом актер...

— Зашем кришаль, зашем кришаль, надо тиконько гаварить, убеждает его содержатель ресторана, прибежавший на крик.

— Во-о-одки-и!

Немец стушевался, и водка явилась перед актером.

— Один кружки пив, требует монотонно пухлый немец, сидящий один за столом и углубившийся в чтение „Герольда“.

— Ну с, назначил я себе бенефис на маслянице, повествует актер в зеленом пиджаке десятку товарищей, восседающих за большим круглым столом.

— На маслянице?

— Да на маслянице, в среду. Ставлю „Казнь безбожного“ расписываю картины ужасные: страшный суд, воскресение мертвых... и в заключение: русская пляска всех участвующих в последнем акте.

— И сбор был?

— Битком. Публика мне подносит золотые часы, кубок и полотенце вышитое руками барышен...

— А у нас в Пензе за барышен-то актера Татарникова отдули... начинает кто то.

— Как? Когда? Обрадовалась публика.

— Да-с В четверг на первой неделе. Татарников куплеты про одну барышню, и про барышню-то хорошую, пропел на сцене, ну сейчас пришли два отставные моряка, Пензенские помещики, народ крупный оба, и предложили Татарникову дуэль...

— Дуэль? И дрались? Молодцы! Рыцари! Загремел трагик.

— Дрались...

— Молодец и Татарников! Драться на дуэли...

— Нет-с дуэли не было, не на дуэли, а на вокзале дрались. Когда Татарникова вызвали на дуэль, он сейчас в полицию и заявил об этом, а сам никуда не показывался. Пришел четверг первой недели. Надо ехать в Москву, а он боится. Приезжает на вокзал. Там его моряки ждут. Только вышел он на платформу, сейчас ему плюху—раз! Плюху—два! Татарников с ног долой. Тогда помощник режиссера Сережка Евстигнеев вздумал заступиться за Татарникова, подбежал да не разобрав в чем дело хлоп какого то пассажира по уху—тот как сноп упал. Потом увидел что ошибся и—еще кого то по уху. Драка сделалась общей. Били кто кого и чем попало. Стол с посудой полетел к чорту, самовар к чорту. Начальник станции к чорту. Все к чорту. А там...

— Где это? У чрота?

— А подле буфета на полу, истекая кровью, лежал театральный старик, парикмахер Шишков, ему насквозь поварским ножом руку прокололи. Так полумертвого в больницу и отправили... Вот они барышни-то! закончил рассказчик.

— А Татарников где?

— Да вот он сидит указывая на молодого брюнета с маслянными глазами, молвил рассказчик.

— Татарников! Татарников!

— Здравствуйте, господа. Подойдя к столу поздоровался Татарников.

— Ну что? На дуэли дрался?

— Дрался с двумя моряками! ответил тот.

— На чем?

— Сначала на пистолетах, а потом и на рапирах.

— Ну что же? едва сдерживаясь от смеха, спрашивают актеры.

— Ранен слегка, но победил.

— А вот Коля говорит, что тебя на вокзале били, указывая на рассказчика, сказал трагик.

— Коля, здравствуй, а я то тебя и не заметил! обнимаются и целуются.

— Как здоров? когда приехал? Начинал заминать разговор Татаринов.

— Нет, ты скажи как ты на дуэли дрался? спрашивал с хохотом трагик.

— Будет, господа, оставьте, вырываясь из могучих его рук упрашивал Татарников, при громком хохоте.

Бьет четыре часа. Дым от папирос становится гуще. Шум усиливается.

— Во-одки. Слышится знакомый бас заметно охрипший.

— Один кружка пиво... Монотонно вторит немец с „Герольдом"...

* * *

Между актерами было, конечно, не мало картежников и биллиардных игроков, которые постом заседали в биллиардной ресторана Саврасенкова на Тверском бульваре, где велась крупная игра на интерес.

Здесь бывали две провинциальных знаменитости далеких лет.

Это Михаил Павлович Докучаев — трагик и Егор Егорович Быстров, тоже прекрасный актер, игравший все роли.

Докучаев игрок-любитель и скандалист до старости своей славился силой и буйством и был лицом по этой части легендарным. О нем даже упоминает Сухово-Кобылин в своей пьесе „ . Свадьба Кречинского“, где Расплюев жалуется:

— После Докучаевской трепки не жить.

Шуллера, слыхавшие Докучаевскую трепку,—боялись его.

А Егор Быстров —игрок профессионал, кого угодно умел обыграть и надуть: с него и пошел глагол „об‘егорить“.

Но раз у Саврасенкова какой-то приезжий шуллер, которого в Москве никто не знал, притворившись неумелым игроком, обобрал Быстрова в чистую. Об этом много говорили в актерской среде, и даже в „Развлечении“ было напечатано четверостишие:

Хитрее чем базарный вор,
Всех об‘егоривал Егор,
Но наскочил Егор на вора,—
И об‘егорили Егора.

Помещался ресторан Саврасенкова почти против дома обер‘полицмейстера и пользовался покровительством местного пристава Раскинда, получавшего с него большой доход. Над рестораном были „нумера свиданий“ и кроме того в этих номерах собирались шуллера, и шла крупная картежная игра. Самый ресторан был дешев, доступен и всегда был переполнен, особенно после театров, так как Саврасенкову Раскинд выхлопотал право поздней торговли до 2-х часов ночи. Это было заведение вроде Эрмитажа Оливие, только демократичнее, сорта на три пониже, но с такими же номерами как в Эрмитаже, только сюда приходили парочки с Тверского бульвара, а в Эрмитаж приезжали в каретах. Особенно здесь привлекала дешевизна: графинчик водки в 8 рюмок стоил 25 коп., и к нему подавался поднос с 8-ю блюдечками закус ки, в том числе паюсная икра, балык, горячие сосиски и ма ринованная свекла с хреном.

Здесь бывала самая разнообразная публика: подрядчики, торговцы, студенты, сыщики, чиновники, а все население Саврасенковской биллиардной, состояло из шуллеров и любителей биллиарда, между которыми бывали и купцы и крупные подрядчики, игравшие на большие куши.

Биллиардная Саврасенкова всегда с полудня до 2-х часов ночи была полна народом, сплошь занимавшим длинные диваны по стенам. Игра велась на интерес, при чем деньги клали в лузу, а иногда, для верности, отдавали маркеру на руки. Партии шли по несколько десятков рублей, при чем принимала участие вся публика, державшая за игроков. Последние не редко „спускали" и задаром отбирали деньги у простаков, не знавших, что шуллера сговорились между собой заранее

Как-то позавтракав у Саврасенкова, я зашел в биллиардную, сел на диван и выразил желание подержать за профессионального игрока Малинина, игравшего с огромным маркером, с прозвищем „Голиаф". В тот момент, когда я вынимал рубль предлагавшему пари юркому человеку, сидевший со мной старый приятель, бывший актер, взял у меня из рук этот рубль и сказал:

— Я держу за Голиафа.

Я согласился, а бритый наклонившись к моему уху, прошептал:

— Игра идет на спуск. Малинин проиграет, я вам рубль отдам после, чтоб не заметили. Партия будет в последнем шаре... Молчи и смотри!

Действительно, партия кончилась последним шаром, который Малинин подставил Голиафу.

— Ну видишь. Пойдем в зал водку пить Оба рубля и пропьем.

Мы выпили 3 графинчика и с'ели 24 блюдечка закуски.

* * *

Были еще рестораны для „загула" с хорами и эстрадами. Это „Золотой Якорь" и один уже совсем загульный: это „Че-

пуха“ за Крестовской заставой, попасть куда было далеко не безопасно Слишком глухое место населенное темным людом. Обыкновенно туда возили подвыпившую публику после полуночи лихачи и парные извощики (голубчики) от „Саратова“ и „Купеческого клуба“ с Б. Дмитровки.

„Чепуха“ это был положительно притон. А название свое получил потому, что тамошне песенники, гармонисты разудалые, пели свою собственную песню припев которой был таков:

„Чепуха чепуха
Это просто враки
Будто сено в сапогах
Молотили раки“

Там пьянствовали до другого дня.

Такого же характера, но более приличный был ресторан в селе Всехсвятском за Тверской заставой. Это большой деревянный одноэтажный дом, с хорошо содержимым садом. Пьяная публика сюда приезжала после пяти часов утра, когда ее прогоняли из всех ресторанов даже от — „Яра“, „Стрельны“ и „Мавритании“, где торговля всегда производилась до утра. Сюда ездили довыпить и опохмеляться.

Так и звали ресторан „Похмелье“.

Помню раз наша небольшая кампания попала туда от Яра в шестом часу утра. Заняли кабинет. Открытые широкие окна завешены тюлевыми занавесками. Пахло цветами, пели птицы среди деревенской тишины. Только что мы расположились за сервированным, по образцу Яра столом, как вдруг распахнулись занавески среднего окна и в него задом к нам полезла огромная фигура. Сначала спустились на пол смазные сапоги и фалды долгополого сюртука. Не успели мы притти в себя от удивления, как перед нами стоит купец, похожий на Илью Муромца с картины „Богатыри“ Васнецова, но в руках богатыря не меч и не палица, а самая обыкновенная дворницкая метла.

Купец дико посмотрел на нас, поставил в угол метлу, степенно снял с головы картуз, который положил на окно, предварительно сдунув с него пыль, пригладил ладонью потные волосы на лбу, подошел к столу, ни на кого не глядя, сел на первый попавшийся стул в нашу компанию и кинул:

— Ну вот и я пришел!

Раз пришел, чтоже делать. Значит гость, угощать будем. К тому же новое развлечение, совершенно неожиданное.

— Ну коль пришел, так пей водку.

Ему налили рюмку. Он протянул руку, но рука так дрожала, что водка пролилась. Он отодвинул рюмку и молча показал на лафитный стакан и на графин.

Налили полный. Левой рукой поддерживая правую он потянулся к стакану, но руки ходуном ходили,

Не обращая на нас никакого внимания, наш гость взял салфетку развернул ее, сложил углом наискось, перекинул через шею, левой рукой взял угол салфетки, правую руку обернул другим ее концом, положил свою огромную бороду на стол, низко нагнувшись над стаканом, который и исчез в его огромных пальцах. Тогда левую руку с концом салфетки стал опускать вниз, поттягивая таким образом правую. Стакан очутился у рта.

Ползла по шее салфетка, поднималась вместе с тем правая рука, пока стакан не прикоснулся ко рту. Тут наш гость медленно стал тянуть водку. Выпрямляясь и запрокидывая голову, опорожнил стакан, крякнул и весело сказал:

— Требуй, робя, чего хошь! Вали в мою голову! Сегодня я угощаю.

Потом выяснилось, что это был один богатей из Таганки, что он живет в ресторане вторую неделю, день пьет, потом спит, просыпается с солнышком выметает весь сад до последней дорожки и пристраивается к какой-нибудь загулявшей кампании, чтобы снова пить. Он большой друг хозяина и такие загулы у него бывают раза по три в году и каждый раз две недели совсем как дикий ходит.

Это мне о нем рассказал хозяин ресторана.

— И скупой, скупой, когда трезвый... День в амбаре сидит, ночь дома купоны стрижет. А вот попадет рюмка другая, покупатель ли уговорит выпить или с семейного огорчения напьется — и пойдет крутить на две недели. Начнет у своего любимого Бубнова а потом к нам и живет, пока запой не пройдет. Он здесь,—а два его сынка, Ленька да Серенька, оболтусы, у Яра шуруют с певицами Анны Захаровны. Без него им лафа. Когда сам у нас гуляет, каждый день приходит его главный доверенный. Вот он о сынках-то мне и рассказывает. Очень занятно!

Ленька и Серенька всетаки несмотря на строгость отца ухитрялись свою линию вести: Ночь. Кабинет. Купец стрижет купоны за письменным столом. Горы настриг. Сынки стоят сзади кресла. Это отец их к делу приучает и чтобы зря не шлялись. Ничего не делают. Стоят, глядят, а руками трогать отец купонов не доверяет. Шепчутся, переглядываются, а глаза у обоих так и горят.

— Ну, Серенька!

— Сейчас.

— Да ну же!

— Ап-п-пчхи!!!

Ленька наклоняется над столом и чихает во всю. Купоны разлетаются. Ребята брасаются подбирать, помогать родителю.

— Ах ты слон египетский. Эк тебя, дьявола, прорвало. И родитель Сереньку хватавшего по карманам купоны ловит за волосы и начинает возить по полу, а Ленька уж около стола горстями лущит. Отец к нему. Тогда Серенька к купонам. Хватил две пригоршни и бросился к выходу столкнув по пути огромную мраморную фигуру, чтобы выручить брата. Взревел медведем раненым родитель.

А через час оба сынка распоряжались у Яра в Пушкинском кабинете слушали хоры и угощали цыганок папиросами „Меджидие“, шампанским и фруктами.

А дня через три огорченный родитель мел сад в Всехсвятском.

* *
*

Бесшумно движется седой слуга в ослепительно белой рубашке перехваченной шелковым поясом. Он несет в специальной корзинке лежащую бутылку, обросшую пылью и мохом и водружает на стол, уставленный дорогим севрским фарфором хрусталем и сверкающим Екатериненским серебром. Как из земли вырастает в изящном фраке француз Мариус, ученик самого основателя Эрмитажа знаменитого Оливье.

— Кло де вужо 55-го года.

Особым штопором, приподняв осторожно горлышко, он вынимает почерневшую пробку и подает ее гостям. Поочередно, издавая одобрительные звуки, ее нюхают знатоки-гурманы рассматривают налет. Слегка наклоняя горлышко Мариус разливает в хрустальные бокалы полувековое бургонское вино с его вкусно-затхлым ароматом.

Великий знаток вин, гигант с седеющей косматой гривой, Лев Голицын, знаменитый винодел, прозванный кавказскими татарами Дели-Аслан (безумный лев), смотрит на свет бокал, делает два три глотка и смакует.

— Хорошо, Мариус, очень хорошо. А вот вы к жиго подали бордо и сказали что Го-Брион 66-го года. Это было вино водянистое, а 66-й год во Франции был сухой и Го-Брион этого года был особенно хорош и ароматен. Вы нас надули.. Меня хотели надуть!

Мариус опустил пушистые усы. Не возражает. Он знает что это вино не 66-го года и молчит под устремленными на него глазами первых гурманов столицы, лучших гостей Эрмитажа, проедающих целые состояния.

Мариус, ученик Оливье, знает когда подать устрицы Фленсбургские, когда Остендские, когда лососину, когда семгу, когда ароматный белорыбий балык, когда янтарный осетровый, на черноморских степных ветрах провяленный, когда омара, когда лангуста.

Ошибки недопустимы. Все по сезону.

— Это восьмидесятые годы. Тогда еще барство строго чуралось купцов и иностранцев.

Но с конца 80-х годов полезли в Эрмитаж московские иностранцы-коммерсанты, главным образом немецкая колония и заполняли залы Эрмитажа в часы завтраков, куда являлись с биржи и англичане, московские заводчики и представители иностранных фирм, всегда чопорные и строгие.

А там и русское именитое купечество, только что сменившее родительские сибирки и сапоги бутылками на смокинги и визитки, перемешалось с иностранцами в роскошных залах Эрмитажа. Ослепительные люстры сверкали мерцающим газом на лепных потолках и дорогих плафонах.

Здесь, тоже после биржи собирались, Морозовы, Лукутины, Коноваловы, Коншины, Перловы, Воронины, Кузнецовы, из которых многие уже получили дворянство, а другие его добивались, но старались подражать дворянству, начинавшему исчезать с горизонта Эрмитажа.

И новым гостям Мариус не подавал Кло-де-Вужо и Го-Бриона, а знаменитый повар Дюге, великий жрец кулинарии, для них не придумывал новых блюд.

— Вася, ну ты там эти купез корми! говорил он своему помощнику.

После Оливье и Мариуса директорами Эрмитажа явились, наметавшиеся около них, Поликарпов, Дмитриев, Юдин, Мочалов.. Народ со сметкой руководствовавшийся пословицей:

— По барину и говядина. Они тоже знали кому что подать.

Пошел в Эрмитаж и разночинец. Периодически устраивала обеды „Русская Мысль“ где профессора и сотрудники журнала пировали во всю, но где самым дорогим вином было шампанское. На эти обеды приезжали из Питера Н. К. Михайловский, М. М. Ковалевский и Глеб Успенский. А народники Златовратский и Нефедов, даже на этих обедах не изменяли себе: ставили перед собой графин водки и закусывали солеными огурцами и капустой, порезав на одну тарелку вет-

чины и тыча поочередно вилками и от всяких вин отказывались, а вместо шампанского пили пиво... Эти обеды, по большей части, были в отдельных кабинетах, потому что на них говорились тогда запрещенные речи. Иногда обедали в большом зале под хорами, за колоннами...

Ежедневным посетителем завтраков в Эрмитаже был до самой своей смерти артист Михаил Провович Садовский. Он имел свой столик против буфета и на стене был наклеен ярлык „Стол М. П. Садовского“. Он пил только водку и сода-виски.

Около него собирались друзья и он сыпал шутками и экспромптами насчет окружающих. Ему служил всегда один и тот же официант, очень маленького роста, которого звали „Герой“. На другое имя он не откликался.

Чопорно, богато и шикарно было в Эрмитаже доступном, говоря словами Бобчинского,

— Только для тех, которые почище.

Но один день в году, 12 Января Эрмитаж был демократичен. Накануне убиралась вся дорогая посуда и обстановка. Штофная мебель заменялась венскими стульями и скамьями, со столов снимались скатерти, пол усыпался опилками. Это был „Татьянин день“ — Студенческий праздник.

И с полудня до поздней ночи стоял в лепном зале ресторана дым коромыслом. Студенты пели, шумели, заливали пол пивом, говорили речи и вот тут-то Златовратский и Нефедов чувствовали себя как дома: пили водку и пиво и никаких деликатессов.

А среди них мелькали черные сюртуки участников обедов „Русской Мысли“, адвокатов, профессоров, сливавшихся с молодежью. Они влезали на столы и говорили зажигательные речи. Их качали, им апплодировали ..

Имевшие успех профессора возвращались домой с оторванными фалдами сюртуков или разбитыми очками. К полуночи все пьянство кончалось и зал пустел. Кое кто еще спал в опилках. Начиналась уборка — и так до следующего года. Особенно ярок этот день бывал во время студенческих вол-

нений, но полиция, по каким-то своим соображениям, не мешала празднику, и не было случая, чтобы кто нибудь пострадал за свои смелые речи в Эрмитаже, где уже с 80-х годов становилась модной поговорка:

— Долой самодержавие.

* * *

В отдельные кабинеты и „Белый Колонный" зал студенты не пускались. В Белом зале давались банкеты, обеды, а иногда справлялись богатые купеческие свадьбы на сотни персон, при чем были случаи, что за персону заказчики платили от 25 до 40 руб. без вина... На торжествах всегда играл модный тогда оркестр С. Я. Рябова. Особенно часто снимали зал для банкетов иностранцы, чествовавшие своих приезжих земляков. Здесь немецкая колония справляла „немецкую масленицу". И здесь, и в других залах Эрмитажа, среди цветов и зелени происходили встречи Нового Года, где столы заранее записывались и получить такой стол можно было только почетным завсегдатаям Эрмитажа.

В кабинетах были разгул и пьянство втихомолку. Подвыпившие гости из большого зала удалялись в кабинеты и пировали до утра...

Модным был красный кабинет, обитый штофной, материей, которой „цены не было" и которая была специально заказана для Эрмитажа на Сапожниковской фабрике. Этот кабинет был памятен тем, что в нем московские купцы с'ели „ученую свинью"

В конце 80-х годов в цирке Саломонского был блестящий клоун, предшественник Дурова, Танти, выдрессировавший огромную свинью.

И взбрело в голову трем купеческим завсегдатаям Эрмитажа,

— С'есть ученую свинью.

Обратились к Танти с просьбой продать им свинью, давали тысячу, две, три рублей... А для чего — не говорят.

Танти долго отказывался, но когда случайно узнал, что купцы хотят ее с'есть — уступил за три тысячи. Свинью

увели. На афише она не появляется дня три. В публике разговор, Саламонский сердится, сборы падают...

И вот на третий день эти купцы делают обед в Эрмитаже.

Это было в субботу — цирковой день. Едут гурьбой прямо из цирка. Приглашают Саломонского с женой, известной наездницей Линой Саламонской, лучших артистов в между прочим Танти. Занимают красный кабинет. Ужин состоял главным образом из свинины, приготовленной в разных видах. Когда все перепились, инициатор говорит речь и заявляет, что с сегодняшнего дня вечера все присутствующие на обеде будут самыми умными в Москве, так как они:

— С'ели ученую свинью.

Пили за инициаторов, за Танти, почтили вставанием ученую свинью.

А через день на арене появился клоун Танти со своей ученой свиньей...

Сборы пошли еще лучше, потому что всю эту историю расписал „Московский Листок", а Танти заявил, что он купцам продал другую свинью, которую купил в Охотном ряду у Лобачева, что подтвердили свидетели...

Таков был Эрмитаж в конце прошлого столетия.

С одним московским прожигателем жизни был случай, о котором он рассказывал так.

— Ухаживал я за одной великосветской дамой красавицей строгой и недоступной. Так ее все и знали. Раз я ее провожал домой из театра. Едем мимо Эрмитажа, остановил извощика у ворот, высадил ее из саней.

— Зайдемте только по чашке кофе...

— Что вы, что вы!

— Скорей вот народ идет из театра. Увидят нас здесь...

Беру ее под руку входим в вестибюль. Швейцар отворяет!

— Осторожно. Здесь ступенька, говорю.

— Я знаю!

? ? ?

* * *

В глухих местах Москвы, близ вокзалов, рынков и ночлежек, были прямо таки разбойные и воровские притоны—трактиры, куда обыкновенные посетители не входили. Конечно в первую голову были все таки трактиры на Хитровом Рынке и по соседству, на углу Солянки, знаменитый „Поляков трактир“, на чердаке которого как то были найдены полицией задушенный купец и чьи то отрубленные руки и нога. Кроме грязного зала весь трактир состоял из ряда каморок, в которых и производилась „тырбанка слама“ т.-е. дележка награбленного ворами. Кроме воров никто не бывал в этом трактире, парадная дверь которого запиралась в одиннадцать часов вечера, а задняя была открыта всю ночь и всю ночь трактир жил кипучей жизнью: вино, женщины, потерявшие человеческий облик и то, без чего ни один вор не обойдется,—азартная игра.

В трактирах этого сорта в те времена не было ни биллиарда, ни бикса. Играли в орлянку под ручку, „в судьбу-фортунку“, „ремешок“ и „наперстки“ и проигрывали огромные суммы. Фортунка—это ящик с решеткой, который ставился на пол и надо было вкатить шар в старший нумер. Она сделана по образцу такой же фортунки, ставившейся на биллиарде в других трактирах, имевших биллиардные. Игра в „наперстки“ состоит в том, чтобы угадать под которым из трех наперстков лежит хлебный шарик, который кладет на глазах у всех держащий банк, На этом больше обыгрывают пьяных и неопытных. В ремешок игра такова: узкий кожанный ремень свертывают на глазах у всех, причем играющий должен воткнуть гвоздь или палку, а то просто палец, что бы угадать середину. Во многих таких трактирах стены вместо обой были покрыты рисунками, изображающими, понятные посетителям сцены, близкого им быта: кулачный бой, пьяный мужик под вывеской кабака, будочник с книгой под мышкой, ведущий вора. В каждой каморке своя картина:

— Приходи к „пьяному“.

— Я буду у „будочника“. Называют место свидания вор вору, указывая каморку, где ждать будут.

Конечно были такие, тоже из трущобников, художники, которые расписывали стены и за это пользовались кредитом у трактирщика.

Одна из каморок в „Поляковом трактире“, запертая изнутри на крючек называлась канцелярией. Здесь отставной приказный Соломка делал фальшивые паспорта. В потайном шкафчике, за скамейкой, хранились чернила, перья, снимки с печатей, печати и гербовая бумага. Кому надо „глаза“ тот стучался и глаз на глаз с Соломкой, за полуштофом водки, торговался какой ему паспорт нужен: плакат ли указ ли об отставке „вечный“ или другой какой документ. Тут же при нем и производилась работа: напишет, подпишет и печать приложит—где копченую, а где и сургучную. Получит от трех до пяти рублей и полуштоф водки, который. вместе и распивают. Передает ему Соломка паспорт с такими словами:

— Комар носа не подточит. В сенате, а не то что в квартале пропишут! Бери на счастье, чтобы тебе Кремля миновать и дюжину не тревожить.

И понимающий знал:

— В Кремле суд окружной, а в суде дюжина присяжных.

* * *

В нижнем этаже Степанова-Ярошенка, в самом углу, помещался трущобнейший притон, дверь которого выходила на Хитровскую площадь. Над ней десятки лет висела, когда то синяя, выцветшая лаконическая вывеска: „Трактир“.

До 80-х годов этот трактир принадлежал притонодержателю и покровителю всего беглого и преступного мира Марку Афанасьеву, у которого в те времена служил, сначала мальчиком, а потом уже буфетчиком, здоровеный малый Ванька. Устаревший и наживший громадное состояние, Марк Афанасьев сам уехал в деревню, а все дело доверил Ваньке, к которому

впоследствии трактир перешел в собственность. Ванька стал Иваном Петровичем Кулаковым и так разбогател, что вскоре и купил огромное владение тут-же на углу рынка и Свиньинского переулка, с рядом трех-этажных домов и флигелей у Ромейко. Здесь помещались страшные трущобы в Свином доме Утюге и в Сухом Овраге, как назывались исстари эти дома. Давно-давно, еще в 40-х годах, это владение принадлежало Свиньину, почему и переулок получил название. В то время этот дом у темного люда известен был под названием „Свиного дома“ и после был куплен богачем Ромейко.

Кулаков богател не по дням, а по часам, но ни на иоту не менял своих привычек: с утра до ночи в своем трактире только одет по богатому: кольца, цепочка, золотые часы А в праздник одевал мундир какого-то благотворительного общества, куда он жертвовал огромные деньги, и через это получал ордена и звания, а положение давало ему возможность царить на Хитрове не боясь ни кого.

— Ивану-то Петровичу губернатор ручку подает! говорили между собою чины полицейского мясницкого участка и боялись его трогать.

Только городовой Рудников никакого уважения к нему не питал.

— Ты у меня, Ванька, гляди! Кричал он на него, несмотря на чиновный мундир и ордена, и брал с него, что хотел. Их связывала многолетняя дружба, а кто из них раньше попал на Хитров—они и сами не помнили.

Притон этот назывался в Адрес-Календаре „трактир И. П. Кулакова“. А у жулья и полиции, еще со времен Марка Афонасьева, звался просто „Каторга“. В далекой Сибири даже назначали этот притон местом явки.

— Будешь в Москве—прямо—на Хитров в Каторгу. Там наших найдешь и „глаза“ дадут и на дело поставят.

Так уголовные каторжники напутствовали убегавшего и давали ему свои поручения.

Это была биржа воров и место свидания беглых. Притон разгула громил и котов, тут-же продававших своих марух ворам и разбойникам, после удачных дел пропивавшим здесь свою добычу.

За средним большим столом пировали во всю шайки громил с Хитровскими марухами, гремел хор песенников под гармонию:

Пьем и водку, пьем и ром,
Завтра по миру пойдем.

Пили сами и угощали „припевающих", толпившихся около стола за подачкой. Меценатствовали: слушали какую нибудь спившуюся шансонетку, инвалида свиставшего соловьем, поощряли голодного акробата, ходившего на руках. Вдруг у стола выростала огромная фигура в мешке. Из прорезанной дыры, на верху торчала косматая голова и борода не закрывавшая огромного губастого рта, а в боковые прорези мешка вылезали огромные ручища.

И все радостно орали: А, а! Протодьякону нашему почет

— Отцу Лаврову почет!

— Ну-ка многую лету!

— Мзду ставь, черти полосатые!

И несколько стаканов водки тянулось к нему.

— Ставь попорядку! Командует, и выпивает сразу три.

Гремит октавище—стекла дрожат.

— Благолепие дому сему! Многая лета! И хор с гармонией подхватывает: Многая лета, многая.

— Из острогов удирающим, клети разбивающим, купца облегчающим, пьяницу Лаврова угощающим! Многая лета! Многая...

И опять хор.

— Болярину Степану Забугрянскому. Многая лета!

И после каждого возгласа пьет несколько стаканов водки и наконец падает на пол. Через него шагают половые с подносом. На отдельном столике плечистый бродяга завывает:

„Когда я был слободный мальчик“ и обнимает пьяную опухшую девочку лет 12-ти.

— Пей дьяволы, за все плачу. Степа Махалкин гуляет!

И повернувшись к Кулакову страшный бородатый громила бросает ему пачку кредиток:

— В расчет! Жмет ему руку и уходит.

Мы сидели втроем у крайнего к выходу столика: я, мой приятель, старый хитрован, переписчик ролей, Кирин, и его сосед по квартире „Тухлый барин“, весь какой-то прозрачный, тощий и лысый, в опорках и рваной визитке—эстет из помойной ямы.

Это был единственный уцелевший отпрыск старинного вымершего какого-то знатного рода, выгнанный за неспособность из всех аристократических учебных заведений и к 30 годам спившийся с круга. На Хитровке он котует лет 5 и у марух на него спрос. Сейчас он на содержании у бывшей прачки Фоньки Косой, гуляющей теперь за большим столом с громилами. Мы пьем пиво, а Тухлый ко второй полбутылке принес с рынка на листе бумаги пригоршню бульенки и говорит нам:

— А вот я эту бульенку больше всего люблю! Она мне очень напоминает салат паризьен и оливье вместе. Конечно бульенка относится к салату оливье как Каторга к Эрмитажу... Но все таки... Особенно, если бульенка попадает из хорошего ресторана. Вот как эта. Вы только поглядите—А! Ведь это же совсем недоглоданная ножка куропатки!.. А вот это осетровый хрящ, это из селянки... Кусок лимона... Почти не выжатый... Это от семги. Видите сколько здесь прекрасных вещей... А вы думаете в каком нибудь ресторанишке лучше вам салат оливье подадут? Тоже об‘едки да обрезки... А мне это напоминает прошлое... Да не все ли равно? Тогда я у Яра да в Эрмитаже к вечеру пьян бывал, а теперь пьян у Кулакова...— и в Эрмитаже водка таже! Тогда держал на содержании шансонетку француженку, а теперь меня Фонька содержит

Все равно к вечеру пьян. Наслаждение во всякой обстановке есть... Вдруг раскинул руки и запел, улыбаясь:

Ах это вы, мадам Барра.

И заулыбался налетевшей на него толстой накрашенной бабе.

Та остановилась, подбоченясь:

— Ах ты, котище, проклятый, где они, мои новые полусапожки?!

— Садись Фоня, пей! Вот они новые полусапожки. Еще рюмки две набежит.

— За сколько?

— За полтину Федосье заложил.

— У, сволочь несчастная.

А за большим столом раздался вопль. Все вскочило и сразу пустилось в драку. Били марух, били марухи. Били бутылками по лицу, стульями по голове. Падали, вставали. Подошел к двери Кулаков, взглянул на побоище, шепнул что-то пробегавшему мимо половому и стал как ни в чем не бывало закуривать папиросу.

Вдруг раздался звон разбитых стекол с соседнего нам окна.

В отверстие показалось лицо полового: Стрема! „Двадцать шесть“! завизжал он в окно.

Буйство окаменело.

Все застыли в своих позах. Кто с поднятым стулом, кто на четвереньках.

— Федот Иваныч с обходом! крикнул половой. И скрылся.

Произошло нечто невообразимое. Толпой бросились к дверям и на ходу разные разбойные типы только бросали хозяину:

— За мной, Иван Петрович!

— Ладно. Шастай.

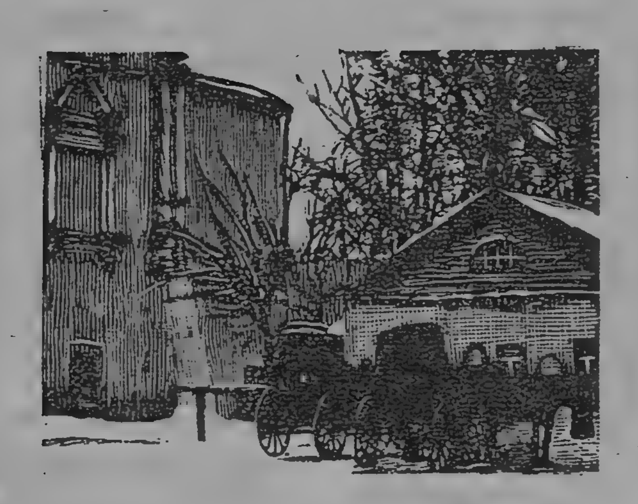
И через минуту половые подбирали битую посуду. И вышибали за дверь пьяных побитых.

— Бой хозяйский, смеялся Кулаков.

Часы били одиннадцать.

— А вот и спектакль! Радовался тухлый барин.

Разгул кончился. Только громадная фигура Лаврова недвижно лежала посреди битой посуды и обломков мебели.



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Я М А.

Под вековыми сводами. — „Яма". — Долговое отделение переведено.—Миллионер Плотицын.—Женщины, сидящие за долги.—Поимочное свидетельство.—Жестокость кредиторов. Издевательство над должниками.—Индийское правосудие.

... С Тверской мы прошли сквозь Иверские ворота и свернули в глубокую арку старинного дома, где прежде помещалось Губернское Правление.

— Ну вот, здесь я и живу, зайдем.

Перешли двор, окруженный кольцом таких же старых зданий, вошли еще в арку, в которой оказалась лестница, ведущая во второй этаж. Выше темный коридор и из него в углублении дверь направо.

— Вот и пришли!

Скрипнула тяжелая дверь и за ней открылся мрак.

— Тут немного вниз... Дайте руку...

Спустились. Держась за руку моего знакомого, я сделал, ничего не видя кругом, несколько шагов. Щелкнул выключатель,—и яркий свет сильной электрической лампы ослепил меня на минуту. Я был поражен.

Я очутился в большой длинной комнате с нависшими толстенными сводами, с глубокой амбразурой маленького с решеткой окна, черное пятно которого зияло на освещенной

сетне... И представилось мне, что у окна, за столом сидит летописец и пишет...

— „Еще одно последнее сказанье
И летопись закончена моя“...

мелькнуло в памяти... Я стоял и молчал.

— Нет, это положительно келья Никона! И лучшей декорации нельзя себе представить... сказал я...

— Не знаю, была ли здесь келья Никона, а что именно здесь, в этой комнате, была „Яма“, куда должников сажали— это факт...

***

— Так вот она, та самая „Яма“, которая упоминалась и у Достоевского и у Островского!

— „И сидят в ней бедные заключенные“! Вспомнилось мне.

Ужасная тюрьма для заключенных не за преступления, а просто за долги. Здесь сидели жертвы несчастного случая, неуменья вести дело торговое, иногда—разгула.

„Яма“ это венец дикой купеческой мстительной жадности. Она существовала до революции, которая начисто смела этот пережиток жестоких времен.

По древним французским и германским законам, должник должен был отрабатывать долг кредитору или подвергался аресту в оковах, пока не заплатит долга, а кредитор обязывался должника „кормить и не увечить“. На Руси в те времена полагался „правеж и выдача должника истцу головою до искупа“.

Со времени Петра I-го для должников учредились долговые отделения, а до той поры должники сидели в тюрьмах вместе с уголовными.

Потом долговое отделение отсюда перевели в „Титы“, за Москву реку, потом в Пресненский полицейский дом, в третий этаж, но хоть и в третьем этаже было, а название все же осталось за ним „Яма“.

Помню я, что заходил туда по какому-то газетному делу и видел сидевшего там старика-гиганта, бывшего миллионера

Плотицына. Тогда там же содержалась какая то купчиха. Когда я спустился вниз, то увидал на крыльце пожилую женщину, но с такой скорбью в глазах, что положительно было жаль смотреть. Она вошла в контору смотрителя и вскоре вышла и ушла со двора.

Заинтересовался и спросил смотрителя:

— Садиться приходила, да помещения нет, ремонтируется. У нее семеро детишек, и сидит зря за мужнины долги!..

Оказывается у нас имеется и женское отделение!

В России женщины были из'яты от телесного наказания много раньше мужчин—а от задержания за долги не избавились...

Но хороши же те мужчины, которые сажали женщину за долги! Купец требует, адвокат убеждает, а судья присуждает!

Старый солдат, много лет прослуживший при „Яме“ говорил мне:

— Жалости подобно! Оно хоть и по закону, да не по совести! Посадят человека в заключение, отнимут его от семьи, от детей малых, и вместо того, чтобы работать ему, да может, работой на ноги подняться, годами держат его зря за решеткой!

— И мильонщики-толстосумы и беднота голая, на маленьких лавчонках прогорелая... Жалости подобно! Сидел, вот, молодой человек, только что женился — и на другой день посадили. А дело-то с подвохом было: усадил его богач—кредитор только для того, чтобы жену отбить! Запутал—запутал должника, а жену при себе содержать стал... И много фактов, „жалости подобных“, рассказывал мне старик.

— Сидит такой у нас один и приходит к нему жена и дети мал-мала меньше... Слез-то, слез-то сколько!.. Просят смотрителя отпустить его на праздник, в ногах валяются...

Конечно бывали случаи, что арестованные удирали на день-два домой, но их ловили и водворяли.

Со стороны кредиторов были разные глумления над злополучными. Вдруг кредитор перестает вносить кормовые

И тогда должника выпускают. Уйдет счастливый, радостный, поступит на место и только что начнет устраиваться — а жестокий кредитор снова вносит кормовые и получает от суда страшную бумагу, именуемую — „Поимочное свидетельсство“.

И является поверенный кредитора с полицией к только что начинающему оживать должнику и ввергает его снова в „Яму“.

Жестокая месть, объяснимая только невежественной злобой.

А то представитель конкурса, узнав об отлучке должника из долгового отделения, разыскивает его дома, врывается, иногда ночью, в семейную обстановку и на глазах жены и детей вместе с полицией сам везет его в долговое отделение. Ловили должников на улицах, в трактирах, в гостях даже при выходе из церкви!

* * *

Но и здесь, как везде: кому счастье, кому горе. Бывали случаи, что коммерческий суд пришлет указ отпустить должника, а через месяц опять отсрочку пришлет—и живет себе человек на воле.

А другой, у которого протекции нет и взятку дать не на что, никаких указов дождаться не может,—разве смотритель из человечности, сжалится, да к семье на денек отпустит!

Это все жертвы самодурства и „порядка вещей“ канцелярского свойства, жертвы купцов-дисконтеров.

Ведь большинство попадало в „Яму“ из за самодурства богатеев-кредиторов, озлобившихся на должника за то, что он не уплатил, а на себя за то, что в дураках остался и потерял деньги.

Или для того, чтобы убрать с дороги мешающего конкурента.

Вместо, того, чтобы дать человеку перевернуться, устроиться и иметь возможность заплатить, со временем, хотя, по частям долг, кредитор, злобно и мстительно подписывал указ и еще вносил кормовые деньги по 5 руб. 85 коп. в месяц.

И много таких мстителей было среди богатого московского купечества, чему доказательством служило существование долгового отделения, в котором сидело почти постоянно около 30 человек.

* *

Давно уничтожили на западе задержание за долги, а в Москве оно процветало.

А на востоке, в Индии, мудрые судьи в древнейшие времена поступали совсем наоборот:

Приходит кредитор к судье, приводит должника и просит посадить за неплатеж.

И спрашивает мудрый судья:

— Когда ты давал деньги ему, что ты думал, нажить или помочь нуждающемуся?

— Нажить, отвечает тот.

— Значит ты дурак, что не с'умел предвидеть случившегося.

И прогонял его.

А если кредитор отвечал, что дал денег, чтобы помочь нуждающемуся—судья кредитора садит в тюрьму:

— Когда давал — был добрый, когда требуешь, чтобы твоего друга посадили—стал злым и за то сиди, пока друг твой не простит тебя!

Но таких умных судей в Москве не было.

А „Яма“ была полна всегда.



ГЛАВА ПЯТАЯ

ЗАСИДКИ

Ольсуфьевская крепость.—Трактир в мечтах.—Революционный кружок в Черныщах.—Квартальный Карасев.—Не граф Ольсуфьев.—Песенка про Князя Гагарина.—Рабочий народ в пожизненном заключении.—Работа и пьянство.—Житье мастеров и учеников.—„Чтоб не баловались": От Петрова до Покрова.—„Не отсвечивай".—„Керосин не горит".

Трактиры были доступны для всех. Простонародные трактиры были переполнены мастеровым людом, для которого-то именно „трактир есть вещь первая". Даже больше: единственное место отдыха. Но был в Москве все-таки дом, населенный рабочими и мастеровыми, которые никогда не могли попасть в трактир и только могли мечтать об этом недосягаемом для них счастии. Позволю себе коснуться этого характерного, чисто московского явления, подробно рассказать историю и быт этого дома. Таких не было нигде и нет. Беру 70-ые—начало 80-х годов, когда мне пришлось жить в этом доме.

На Тверской против Брюсовского переулка, почти рядом с генерал-губернаторским дворцом, стоял большой дом, четырехэтажный, с подвальными этажами, где помещались лавки и винный погреб. И лавки и погребок имели два выхода:

на улицу и во двор и торговали на два раствора. Погребок торговал через заднюю дверь всю ночь. Этот оригинальной архитектуры дом был окрашен в те времена в густой темно-серый цвет. Огромные окна бель-этажа, какие-то выступы, а в углублениях высокие чугунные решетчатые лестницы — вход в дом. Подъездов и вестибюлей не было. Посредине дома глухие железные ворота с калиткой всегда на цепи, у которой день и ночь дежурили огромного роста здоровенные дворники. Снаружи дом, украшенный вывесками торговых заведений был всегда в порядке и обращал на себя внимание оригинальной красотой. Первый и второй этажи сверкали огромными окнами богато обставленных магазинов. Здесь были модная парикмахерская Орлова, фотография Овчаренко, портной Воздвиженский и др. Верхние два этажа были заняты меблирашками Чернышовой и Калининой с незапамятных времен, почему и назывались „Чернышами". В Чернышах" жили актеры, мелкие служащие, учителя, студенты и пишущая братия. В 1876 году здесь жил, еще будучи маленьким актером Малого Театра, М. В. Лентовский: бедный нумеришко, на четвертом этаже, маленькие два окна, почти наравне с полом, выходившие на двор—а имущества всего— одно пальтишко, гитара и пустые бутылки. Я в это время служил в артистическом кружке у Вильде и часть зимы прожил ночуя кое у кого из товарищей по сцене, а в начале 80-х годов жил в этом же самом нумере уже сам, один, а рядом занимал большую комнату М. И. Орфанов („Мишла"), у которого собирались революционеры того времени, в том числе П. Гр. Зайчневский, потихоньку явившийся в Москву и проживший у нас около месяца. У „Мишла" и у актера Васи Васильева, жившего этажем ниже, всегда имели приют нелегальные, приезжавшие в Москву. Здесь вечерами собирались народники. Особенно часто бывали Златовратский, Нефедов, Астырев—словом вся революционная Россия здесь, против генерал-губернаторского дома имела покойный приют.

А все благодаря полиции.

В квартире № 45 во дворе жил хранитель дома с незапамятных времен. Это был квартальный Карасев, из бывших городовых, любимец всемогущего генерал-губернатора князя В. А. Долгорукова, при котором он состоял неотлучным не то вестовым, не то исполнителем разных личных поручений. Полиция боялась Карасева больше чем самого князя и потому в дом Олсуфьева, что бы то там ни делалось, не совала своего носа.

А делалось там вот что:

Впрочем маленькое отступление.

Владелец дома, отставной штабс-капитан Дм. А. Олсуфьев, не граф, и ничего общего с графом Олсуфьевым не имеющий, здесь не жил, а управлял домом бывший дворник, закадычный друг Карасева, который получал и с него и с квартирантов, содержателей торговых заведений огромные деньги. Надо заметить, что кн. Долгоруков вечно был в долгу и занимал деньги или через своего камердинера Вельтищева или через Карасева, и они давали ему, конечно свои деньги за огромные проценты. Все это давало Карасеву силу и власть, что очень ценил и Олсуфьев, который не брал с него за квартиру в самом заднем флигеле. Олсуфьев дом купил у наследников кн. М. Гагарина, бывшего сибирского губернатора, казненного Петром I-м. Дом этот был в свое время чудом московским: стеклянная крыша, огромные бассейны и аквариумы с проведенной из Москвы реки водой. У портного Воздвиженского, жившего в этом доме с 20-х годов, и занимавшего роскошную квартиру в бельэтаже с улицы я видел на стене под стеклом рисунок этого дома со стеклянной крышей, а его портные, ютившиеся в надворных флигелях пели песню, по тем временам, крайне нецензурную, которая начиналась словами:

— Ах, ты сукин сын, Гагарин;
Ты собака, а не барин...

и кончалась эта песня так:

Заедаешь харчевые,

Наше жалованье. .
И на эти наши деньги
Ты большой построил дом
Среди улицы Тверской.
За Неглинкой за рекой,
Со стеклянным потолком,
С Москварецкою водой,
По фонталу ведена,
Жива рыба пущена.

Но не этот наружный дом давал Карасеву и Олсуфьеву доходы!

За вечно запертыми воротами, куда не смела войти полиция, был огромнейший двор, внутри которого ряд зданий самого трущобного вида. Ужас берет посмотреть на сводчатые входы с идущими под землю лестницами, которые вели в подвальные этажи с окнами, забитыми железными решетками!

Огромнейший флигель посредине двора. Флигеля с боков и—как тогда называли—„кругообразный корпус", выходивший на соседний церковный двор. Остальные флигеля примыкали к соседним строениям и ни одного забора, через который перелезть можно. Словом—один выход только через охраняемую калитку.

А народу было тысячи полторы.

Не даром дом не имел другого названия, как—Олсуфьевская крепость.

В промозглых надворных постройках сотни квартир и комнат, занятых всевозможными мастерскими.

Пять дней в неделю тихо во дворе—а воскресенье и понедельник все пьяно и буйно; стон гармоники, песни, драка, сотни полуголых мальчишек-учеников, детишки плачут... Ревут и ругаются ученики, ни за что ни про что избиваемые мастерами, которых и самих также в ученьи били.—

И ничего не видно и не слышно с улицы за большим домом, а ворота заперты, только в калитку иногда ныряли

квартиранты, которые почище одеты. Остальные вечно томились в крепости.

Пьянство здесь поддерживалось самими хозяевами: оно приковывало к месту,—разутому и раздетому куда идти? Да и дворник в таком виде не выпустит на улицу и жаловаться некому.

Мастеровые в будние дни начинали работу в 6—7 часов утра и кончали в 10 вечера. Вот хоть портные в мастерской, положим, Воздвиженского, у которого было 50 человек. Из них женатые жили с семьями в квартирах на дворе, а холостые с мальчиками—учениками ночевали в мастерских, спали на верстаках и на полу, без всяких постелей: подушка—полено в головах или свои штаны, если не пропиты, а одеться и нечем!

К 6 часам утра кипел ведерный самоварище, заблаговременно поставленный учениками, которые должны встать раньше всех и уснуть после всех.

У всякого своя кружка—а то просто какая-нибудь банка—чай хозяйский, а хлеб и сахар свой, и то не у всех. В некоторых мастерских мальчикам чай полагался только два раз в год—на Рождество и на Пасху, по кружке:

— Чтоб не баловались!

Скверное положение было учеников: мастера, сами вышедшие из мальчишек, озоровали пьяные. Во всей Олсуфьевке грамотных почти никого не было, и никто ничего не читал. Ни книг, ни газет не было видно. После больших праздников, когда пили и похмелялись неделями, садились за работу буквально голыми, и садились только тогда, когда единственную рубашку на тряпку, чтобы только „стыд покрыть" сменяют.

Особенно гулящими было два праздника:—летний „Петров день" и осенний—„Покров" у живших в Олсуфьевке артелей плотников, каменьщиков и маляров. У маляра Смирнова было до 60 рабочих, у плотника Бобылева 50 плотников, и было кроме них в доме много мелких артелей.

Наем рабочих велся помесячно, на срок от „Петрова до Покрова“ и от „Покрова до Петрова“, т. е. от 29 июня по 1 октября.

И вот в „Петров день“, перед квартирами на дворе, а если дождь, то в квартирах, с утра уставляются столы, а на них четвертные сивухи, селедки, огурцы, колбаса и хлеб.

Первую чару пил хозяин артели, а потом все садились на скамейки, пили, закусывали, торговались и тут же „по пьяному делу“, заключали условие с хозяином на словах и слово было вернее нотариального контракта:

— Слово не олово, слито и шабаш!

Когда поразопьются—торгуются и кочевряжатся:

— Андрей Максимов, а сколько ты мне положишь в неделю? Пьяным голосом обращается плотник к хозяину.

— Хошь по старому—живи; А то, ежели что, и не надо, уезжай в деревню, отвечает, красный как рак, Бобылев.

— А ты надбавь! А то давай расшот!

— Как хошь! Получай сейчас и не отсвечивай!

Орут, галдят, торгуются, дерутся всю ночь...

А через день вся артель остается у хозяина.

Это „Петров день“—цена переряда.

У портных, у вязальщиц, у сапожников, у ящичников и пр. тоже свой праздник—„засидки“.

Это 8-го сентября.

Тоже выносятся столы с вином и закусками, тоже пьянство, и здесь, не выходя со двора, та же ночевка в подвале куда запирали иногда связанного за буйство и та же на другой день работа до 10 вечера:

— После засидок—с огнем.

У портных засидки продолжались два дня.

9-го сентября ползают полупьяные, опохмеляются на последнюю рубаху, но к 7 часам вечера все сидят, ноги калачиком, на верстаках, при зажженной лампе. Еще засветло зажгут и сидят, делая вид, что шьют.

А мальчишка у дверей караулит.

— Идет!

И кто нибудь из портных убавляет огонь в лампе до нельзя

Входит хозяин.

— Что такое за темнота у вас тутотка?

— Кирасин не горит!

— Почему такое вдруг бы ему не гореть?

— Небось сами знаете! Лампы-то ваши...

— Тэ-экс! Ну, нате, чтобы горел!

И выкидывает трешницу на четвертную и закуску.

Огонь прибавляют и кричат ура.

Через час четверть выпита; опять огонь убавили. Сидят-молчат. Посылают мальчишку к главному закройщику—и тот же разговор, та же четверть, а на другой день все на работе.

Сидят ноги калачиком—а руки с похмелья да от холода ходуном ходят.

Летние каникулы окончились. После „зсидок" началась зимняя, безрадостная и безвыходная крепостная жизнь в Олсуфьевке—откуда

— Даже в трактир не выйдешь!



ТОГО ЖЕ АВТОРА:

Вышли из печати и распроданы:

Трущобные люди. М. 1887 г. (Сожжена по распоряжению Комитета министров).

Забытая тетрадь. М. 1891 г. Сборник стихотворений.

Портной Ерошка. М. 1891.

Московские нищие. М. 1896.

Забытая тетрадь. М. 1899. 2-ое дополненное издание.

Негативы. М. 1900. Сборник рассказов.

На родине Гоголя. М. 1902.

Шипка прежде и теперь. М. 1902.

Забытая тетрадь. М. 1904. 3-е дополненное издание.

Были. М. 1908. Сборник рассказов.

Шутки. М. 1912. Сборник рассказов.

Год войны. М. 1915. Сборник стихотворений.

Грозный год. М. 1917. Сборник стихотворений.

Петербург. М. 1921. Поэма. Первая часть трилогии.

Стенька Разин. М. 1922. Поэма.

Готовятся к печати:

Литературная и театральная Москва. Газеты, журналы и театр 80 и 90-х гг.

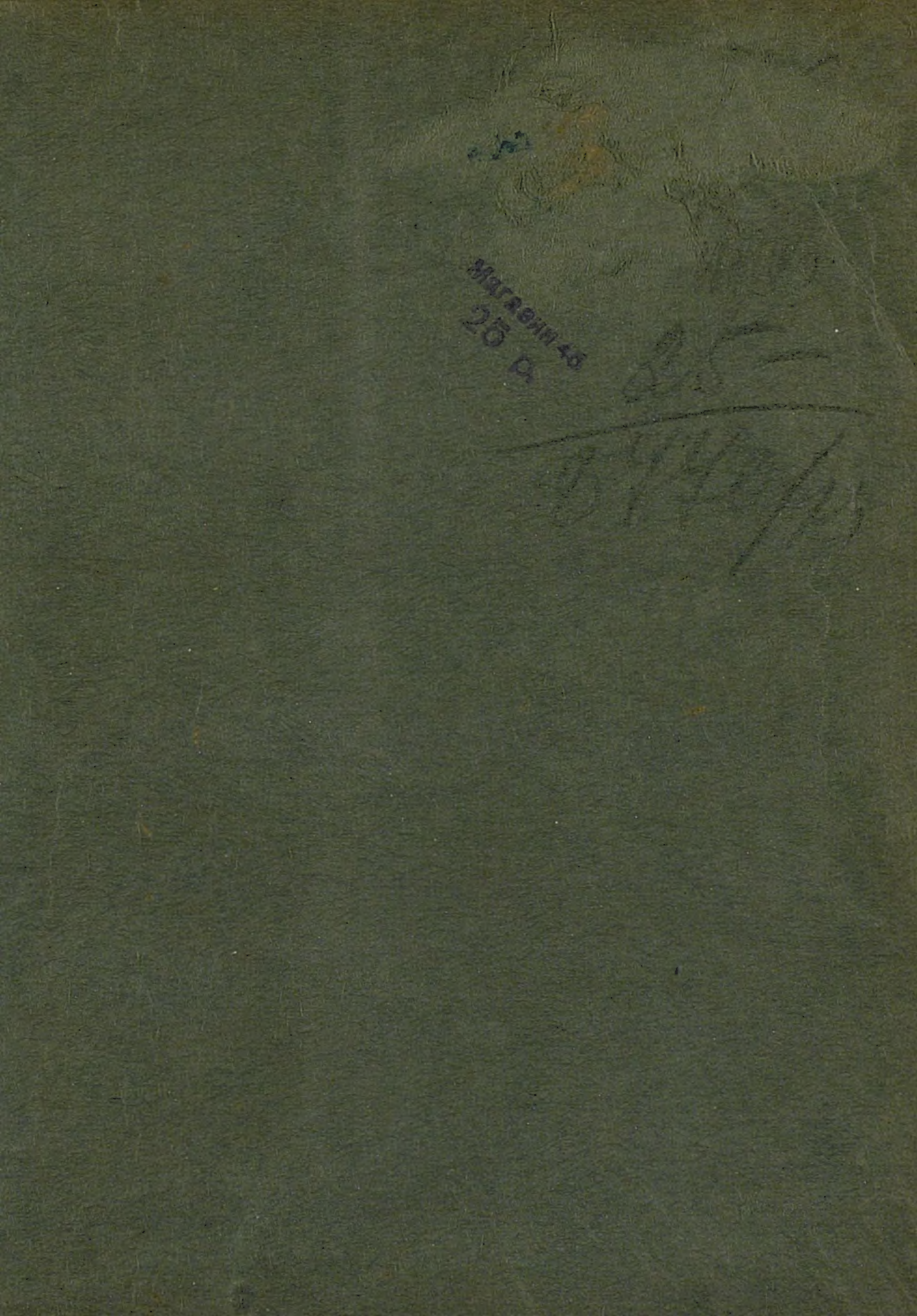
Степан Разин. Народная трагедия.

В бурлацкой лямке. (Из жизни волжского пролетариата 70-х годов).

Москва. Поэма. Вторая часть трилогии.

Вождь. Поэма.

Азраил. Сборник стихотворений.


Магазин 46
25

